

ЛИМБУС АРТ



Намалыя
РУБАНОВА

КОЛЛЕКЦИЯ
НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
МУЖЧИН



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург
Москва

Наталья Рубанова

Коллекция нефункциональных мужчин

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4436184

*Коллекция нефункциональных мужчин: Предъявы.: Лимбус Пресс; Санкт-Петербург; 2005
ISBN 5-8370-0402-5*

Аннотация

Молодой московский прозаик Наталья Рубанова обратила на себя внимание яркими журнальными публикациями. “Коллекция нефункциональных мужчин” – тщательно обоснованный беспощадный приговор не только нынешним горе-самцам, но и принимающей их “ухаживания” современной интеллигентке.

Если вы не боитесь, что вас возьмут за шиворот, подведут к зеркалу и покажут самого себя, то эта книга для вас. Проза, балансирующая между “измами”, сюжеты, не отягощенные штампами. То, в чем мы боимся себе признаться.

Содержание

Предъявы	4
Первый	4
Креплёная проза, или коллекция нефункциональных мужчин	7
Одеяло	15
Порномальчик и другие архетипы мужчины	19
Богемка	23
Еще та	26
Иван Среднерусский	28
Марк Аврелий	30
Душа а-ля рюс	32
Несмертные записки	34
Зинаида как она есть	38
Проза всей жизни	41
User	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Наталья Федоровна Рубанова

Коллекция нефункциональных мужчин: Предъявы

Предъявы

Первый

Все в Игоре Сергеиче казалось Сашеньке необычным: и ходит не как все, и говорит всегда интересное, и пепел стряхивает по-особому.

В Сашенькиной голове гнездились множество мыслей, не отдающих одна другой полного отчета, но, тем не менее, запутывающих Сашеньку настолько, насколько множество мыслей, не отдающих полного отчета одна другой, могут запутать зеленую душу

Игорь Сергеич был высок и хорош собою: черноволос, смугл, со щетиной, как у Шевчука, и низким многообещающим баритоном.

Сашеньку представили Игорю Сергеичу случайно – в киноклубе, где Сашенька и Сашенькин друг так же оказались случайно из-за нашумевшего когда-то “Мусульманина”.

– Ого, и он здесь! Пойдем, познакомлю, – сказал Сашенькин друг, студент РАТИ, подталкивая Сашеньку к незнакомцу. И что-то, не поддающееся логике, заныло у Сашеньки под ложечкой, заскулило: прям вот так сразу заныло, заскулило, а еще – заскребло, совсем как в бульварном романе. И – как полагается – голос пропал, рука задрожала, а Игорь Сергеич того не заметил, только улыбнулся да протянул визитку, где было напечатано необычным шрифтом: *арт-директор*, название известного издательства, e-mail и два телефонных номера.

– Звоните, не стесняйтесь. Вы ведь, насколько я понимаю, живописуете? – сказал на прощание Игорь Сергеич, и непонятно было, усмехнулся он или просто попрощался.

Сашенькин друг сказал, что знает Игоря Сергеича давно, что он “свой”, и что ему сорок.

...Фильм не шел в Сашенькину голову, хотя был весьма и весьма хорош.

– Эй, ты чего? – толкнул Сашеньку друг уже на улице.

– Так, – взгляд Сашеньки казался грустным и растерянным. – Так.

Номер набирался легко. У Игоря Сергеича был певучий тембр, не искажаемый телефоном, а интонация – теплая.

У Сашеньки задрожали колени, когда Игорь Сергеич предложил “пообщаться на темы современных художеств”, – так он это назвал.

...Сашенькины руки долго путались в не отягощенных парадной одеждой дебрях гардероба, пока наконец не нащупали толстый пушистый свитер стального цвета и вельветовые темно-серые брюки.

Они встретились на Крымском Валу и пошли вниз по направлению к Парку культуры. Было шумно, и в голове у Сашеньки тоже шумело.

– Вы, по-моему, нервничаете. Или чего-то боитесь, – мягко проконстатировал Игорь Сергеич. – Кстати, сколько вам? Двадцать?

Сашенькина голова кивнула, и они пошли дальше. Игорь Сергеич долго рассказывал о своем новом проекте, о поисках единомышленников, о том, что нужны свежие силы и молодая кровь – тогда, типа, дело обязательно выгорит.

На словах “молодая кровь” Сашенькино сердце снова екнуло, а ладони сделались влажными – совершенно, как у тургеневской девушки на роковом свидании в беседке.

– Почему вы не женаты? – сорвался с Сашенькиных губ глупый бестактный вопрос, и Игорь Сергеич рассмеялся:

– Знаете, Саш, не уверен, поймете ли вы, но женщины меня разочаровали. Да, да, и очень уже давно. Я не занимаюсь женщинами, я занимаюсь любовью, – снова рассмеялся Игорь Сергеич и по-отечески похлопал Сашеньку по плечу: – Да вы не расстраивайтесь, у вас еще все впереди. Скажите только, вы согласны участвовать в проекте?

Сашенькина голова снова кивнула, и Игорь Сергеич белозубо улыбнулся, моментально – белозубостью своей – Сашенькин столбняк сняв.

– Теперь, честь имею пригласить... – совсем незаметно они оказались в Камергерском, у очаровательного артистического рестораника, где официантки достаточно мило изъяснялись на русском и английском и, казалось, даже за кулисами не баловались двуязычным матом.

Игорь Сергеич заказал кофе, коньяк, жульен и фрукты, а закулив, как-то чересчур пристально заглянул в Сашенькины глаза.

В ресторане было тихо и уютно; по Сашенькиным жилам равномерно растекались блаженство и коньяк. Дрожь и робость отпустили, Сашеньке захотелось рассказать Игорю Сергеичу вчерашний сон...

Игорь Сергеич внимательно выслушал про сон, про любимого писателя, про детское воспоминание и нараспев пробаритонил:

– А знаете, у меня дома отличный коньяк. Гораздо лучше, чем здесь. А еще – кофе французской обжарки. Здесь, Саша, итальянская, поэтому вкус не тот. Заодно покажу вам кое-что на компьютере. Если, конечно, вы никуда не спешите...

На улице уже стемнело; огни фонарей казались Сашеньке новогодней иллюминацией, а Игорь Сергеич – волшебником из сказки Шарля Перро, до дыр зачитанной в пешкомподстолье.

Игорь Сергеич жил в маленьком переулке за Главпочтамтом; Игорь Сергеич действительно показывал Сашеньке кое-что интересное на компьютере, а потом наливал Martell в большие бокалы с затемненным дном.

Сашеньке было так хорошо с Игорем Сергеичем, что становилось даже страшно. Откуда это полное понимание, нюх, чутье? Почему он так внимательно слушает? А почему сказал, что не занимается женщинами, а занимается *любовью*? В каком смысле – Любвью? Может, у него была злая жена? Наверное, он одинок, да, да, конечно, он одинок, талантлив и несчастен... – так думалось Сашеньке, а голова плыла, плыла...

Когда в бутылке мало что осталось, а кофе французской обжарки тоже был выпит, Игорь Сергеич взял Сашенькину ладонь и, проведя осторожно по линии Венеры, так же осторожно поднес к губам.

Сашенькины глаза выразили сначала восторг, потом – тут же – протест, но через мгновение радостно и смущенно сдались.

– Мальчик мой, – убаюкивал Сашеньку Игорь Сергеич, глядя по голове. – Хороший мой, единственный, как долго я тебя ждал...

Сашенька слушал его, раскинувшись на широкой двуспальной кровати, и улыбался. Он никогда не подозревал о том, что счастье может быть так возможно, так близко!

Он приподнялся на юные свои локотки, посмотрел на Игоря Сергеича и, потеревшись носом о его висок, как-то снисходительно похлопал по плечу: инициация завершилась первым лучом прохладного осеннего солнца.

Креплёная проза, или коллекция нефункциональных мужчин

Евангелина присела на ободранный, коричневым крытый стул у зеленой стенки и осмотрелась. Напротив обозначилось энное количество самочек с потухшим взглядом и преимущественно с пакетами, по которым так легко отличить русских за границей.

- Кто последний в девятнадцатый?
- А вы к врачу или на лечение?
- К врачу.
- Тогда за мной; здесь к медсестре – вторая очередь.
- А прием со скольких?

Евангелина зевнула и открыла Пелевина, где прямо перед содержанием курсивилось: “Охраняется законом РФ “Об авторском праве”. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке”.

Евангелина опять зевнула и оголила наугад “Желтую стрелу”, где было что-то о людях, едущих спиной вперед. Евангелина усмехнулась: последнее время у нее появилась слишком заметная привычка делать это – как, например, вчера, когда, прогуливаясь по вечернему городу, она спросила одного типа нечто по типу Истины и он ответил, будто никогда над этим не задумывался. В тот момент Евангелина вот так же тихонечко усмехнулась и подняла глаза к небу, абсолютно так же, как сейчас, – к потолку кожвен-диспансера.

- Что ж вы зевае, ваша очередь! – подтолкнула Евангелину сидящая рядом брюнетка.
- Раздевайтесь, – донесся усталый голос из-за ширмы, когда Евангелина вошла в кабинет.
- Прямо здесь?

Из-за ширмы высунулось лицо в очках с нависшими над ними кудряшками, а все остальное упрятывалось в будто белый халат.

- Первый раз?
- К вам – да.
- Так-так, – врач закопалась в амбулаторную карту, постукивая карандашиком по ободранной поверхности стола. – Так-так, Пелевина Евангелина Владимировна... Половая жизнь с каких лет? Замужем? Аборты, беременности? Хронические заболевания? Венерические? Непереносимость лекарств? Последний половой контакт когда? Месячные? Что можете сказать о партнере?

...Евангелина на секунду задумалась, а потом изрекла: “Ничего, люблю я его”. Врач удивленно-снисходительно посмотрела на нее сквозь очки, исподлобья и с легкой укоризной:

- Все болезни, деточка, от любви. И реакция Вассермана тоже не от злобы “положительной” может быть. Проходи быстро вон туда, а туфли здесь оставь, у стула.

Евангелина зевнула и полезла на кресло, а оказавшись там, тихонько усмехнулась и одновременно ойкнула от вовсе не нежного прикосновения рук в перчатках и холодного расширения.

- Результат – послезавтра с восьми до часа. Вот квитанция, оплати в кассе.

Евангелина вышла, цокая шпильками по коридору: “женский” кабинет находился за “мужским”, поэтому Евангелина проходила мимо грустного строя своей биологической противоположности: та в большинстве своем стояла или сидела, понуриив голову; иная же ее часть – крайне малая, новички или старожилы – наигранно хорохорилась. Почти процокав

проблемный ряд, Евангелина собралась уже было повернуть к кассе, как вдруг заметила Дон Кихота. Выглядел он как обычно, только слегка побледнел.

– Эй, Кихот! Неужто и вы здесь?

Дрожь пробежала по его лицу, и он, силясь, поднял глаза:

– Милая Евангелина! Какое чародейство устоит перед вами? Но *иное* чародейство вольно обрекать меня на неудачи... – он закашлял и прижал платок к опущенным уголкам губ.

– Милый Кихот, Львиный Рыцарь Печального Образа, сам Жуан старается стеречься этого гнилого места!

– И то – правда. Только... – он покачал головой, – я потерял целомудрие, давеча, да, вот так бывает. А дабы Дульсинея не причинять беспокойства, решил не тревожить ее...

– Что ты на это скажешь, Санчо? – усмехнулась Евангелина проходящему мимо толстяку.

– Слава богу, до сих пор никто не представился; хоть мы и нездоровы, да живы! – резонно заметил Санчо, потерев задницу. – Только от пирогенала сидеть больно, искололи всего, эх...

Дон Кихот самозабвенно шепнул в воздух:

– Там, где блистает сеньора донья Дульсинея Тобосская, не должно восхвалять чью бы то ни было красоту

– Ах-ха-ха, ах-ха-ха! – затрясся жир на животе Санчо. – Донья Дульсинея Тобосская! Да шлюха ваша Дульсинея, сеньор! Шлюха, к тому же заразная. Мы с вами подлетели, как два в одном; что, не отрекаетесь, любя? Эх, сеньор, сейчас опять вольют вон туда серебро, – он показал вполне определенным жестом чуть ниже живота, – и завтра вольют, и послезавтра, а потом – антибиотики, сеньор. Вы знаете, сеньор, сколько сейчас стоят антибиотики?

Пока Санчо говорил, Дон Кихот наблюдал за тем, как повозка его воображения двинулась своею дорогой, а направляясь к семнадцатому кабинету, жалобно посмотрел на Евангелину:

– Уж верно любо глядеть на всех рыцарей, которые военными и прочими тому подобными упражнениями развлекают и потешают Дам своего сердца. У каждого Рыцаря свои обязанности, – вздохнул он и, поддерживая целлофановый пакетик с болтающимися в нем пирогеналом, одноразовым шприцем и перчатками, скрылся за дверью, где лечили от любви.

Санчо подошел к Евангелине и шепнул:

– Боюсь, боюсь за сеньора, переживает больно! Тем более, как добрый христианин, он не станет мстить за обиду... А вы-то?

Евангелина потрепала его по щеке:

– А я – в кассу. Анализы сдавала.

– А, – почесал за ухом Санчо, – анализы у них дорогие! Это разве больница? Это сонмище весельчаков и затейников! Знал я в молодости одного лекаря – так его посадили в тюрьму за то, что он двоих уколошил.

– Как уколошил? – удивилась Евангелина.

– А так, по незнанию. Вместо пирогенала мышьяк выписал.

– Разве в твою молодость был пирогенал? – усмехнулась Евангелина.

– Конечно нет, сеньора, – опустил голову толстяк. – Не в обиду скажу – уходите, не к лицу вам место это гнилое. Да, кстати, – он заулыбался, – прежде этого нам надлежит, и притом немедленно, упрятать в черный ящик одного доктора...

– Мне некогда, Санчо, выздоравливай... – отмахнулась Евангелина.

Через пять минут, отдав за анализы немалую сумму, Евангелина зашагала в сторону трамвайных путей.

Она набрала нужные цифры на кодовом замке, поднялась на второй этаж и позвонила. Открыли не сразу.

– Где ты была? – деловито осведомилась с порога Евангелина Вторая. – Полдня жду.

– В кожвене.

– Чего?

– В кожвене была, Кихота с Санчо встретила.

– А... – протянула сквозь сигаретный дым Евангелина Вторая. – Понятно.

– Ну что, что тебе может быть понятно? Сидишь тут, философствуешь, а что ты вообще знаешь?! – закричала Евангелина Первая. – Что?

– Дура, – пожала плечами Евангелина Вторая. – Просто дура, – и отвернулась.

Евангелина обняла ее сзади за плечи:

– Ну, прости, прости же меня... Я помню, что мы с тобой одно, помню, я люблю тебя, потому что мы неделимы, но я ничего не могу с собой поделаться... – Евангелина Вторая повернулась, проведя осторожно пальцами по лицу Евангелины Первой. – Не могу же я любить только собственное отражение, пусть даже такое прекрасное.

– Опять Онегин?

– Онегин.

Евангелина Вторая вырвалась из рук Евангелины Первой:

– Иногда мне кажется, что я просто тебя ненавижу. Иногда – наоборот. Что мне делать с этим, неизвестно. Знаю только, что и в “дзэне” и в “дзине” – врут. Просто еще один обман еще одной абстракцией. Тьфу! Понимаешь или нет? *Как нет смысла извне, так нет его и изнутри!* Обман как снаружи, так и внутри, и именно это особенно трогательно и смешно... Хотя, снаружи обмана гораздо больше.

Евангелина Вторая отрешенно смотрела на Евангелину Первую.

– Не любишь ты меня, нет. Значит, и себя не любишь.

– Что за чушь! Ты пойми – чтобы раскопать себя изнутри, нужно определенное количество Пустоты, незамусоренности себя как собой, так и внешним! – крикнула Евангелина Первая. – И я люблю тебя. Но Онегина – тоже...

– А что, если “истина” открывания Себя внутри себя – очередной громоотвод от Настоящей Истины? – глядя сквозь Евангелину Первую, как бы утвердительно спрашивала Евангелина Вторая.

– А что, если... – Евангелина Первая снова обхватила за плечи свое прекрасное и чудовищное Отражение: “У нас все будет хорошо”, – и нащупала под сердцем пульс Евангелины Второй.

Через день Евангелина, выходя из КВД, встретила недалеко от сквера Онегина.

– Ты тоже туда?

– Туда, только у меня денег нет, у меня там блат, – ответил Онегин, отводя глаза, совсем такие же, как у сенбернара жарким летом в средней полосе России, и добавил: – Застрелюсь.

– У тебя глаза, как у сенбернара жарким летом в средней полосе России, – сказала Евангелина. – Несчастные и красноватые с краю.

– Ты, Пелевина, всегда краев не видела, что ты можешь сказать о глазах?

– Только то, что вижу. Ладно, пойдем покурим, ты все-таки меня заразил.

– Сначала ты меня, потом я тебя, какая разница, кто кого, – почесал подбородок Онегин.

– Теперь-то уж никакой, только на меня Евангелина Вторая злится.

– Правильно, я бы тоже злился, если б мог, – рассмеялся Онегин.

– Дурак ты, Онегин. А еще характерным персонажем считаешься. Лечиться надо.

– Надо. Тебе тоже. Как живешь-то? В социум выходишь?

– Выхожу, что ж делать, деньги-то нужны.

- Да, сейчас лекарства...
- Ага, и детское питание. Как деревенская печаль?
- А что ей будет? За генерала вышла, все говорила, не изменит, а сама – видишь – вон чего подцепила.
- Так это от Таньки? Значит, наврал Пушкин?
- Пелевина, не будь наивной. Ларина своего не упустит; что ей с генералом делать ночами?
- Проехали с Лариной. Про себя лучше расскажи.
- Сказку или как?
- Или как...
- Дядька помер... да... А в деревне, Пелевина, тоска жуткая! Сначала ничего, а вот недели через две... Володька разбавил немного хоть.
- Ты же нивелировал его как вид.
- И тебя, что ли, несет, Пелевина? Это все литературный вымысел, Пушкин это... Да чтоб я с Ленским стрелялся? С Володькой?
- А ты не врешь? Дуэль-то была.
- А чего мне врать. Короче, охотились, к Лариным чаи гонять ездили, а дуэли не было.
- И где Володька сейчас?
- В эмиграции, в Нью-Йорке. Сначала, как Эдичка, вэлфэр получал, они в “Винслоу” на одном этаже жили. А потом Ленский каким-то образом высоко полетел, купил себе дом и вот – ведет здоровый образ жизни.
- Все к лучшему.
- Что?
- Ну, что Володька жив. И что здоровый образ...
- Да, это оно, пожалуй... Пелевина, а ты сны видишь?
- Вижу.
- Расскажи.
- Вчера, короче, снится мне, будто лежу я в гинекологическом кресле, по уши в гипсе, и даже голова вся забинтована. И вот врач, Нина Петровна, с бритвой в руке ко мне подходит и начинает срезать родинку над верхней губой. А потом телефон зазвонил, и я не помню дальше...
- Интеллектуальные у тебя сны, Пелевина. А я вот вчера видел, как мне Мартовский Заяц дорогу перебегает.
- Перебежал?
- Не помню.
- Онегин, тебя уже лечат?
- Нет, только диагноз сказали; я вчера напился.
- Зачем деньги тратишь, таблетки бы лучше купил.
- На таблетки все равно не хватит.
- У тебя же блат.
- Блат – только на анализы, а в аптеке блата нет. Застрелюсь.
- Лечиться минимум месяц, Онегин, ты слышишь?
- Слышу. Но я из социума ушел, из литературы ушел, в люди не вышел, денег у меня нет.
- Может, у Пушкина займешь?
- Так он не даст, не верит он мне.
- Не фига себе, столько на романе заработал, жизнь исковеркал, а займы не даст?
- Не даст. Может, у бабы его попрошу.
- У Наташки-то?

– У Наташки. Она, кстати, возмущалась все на счет памятника на Арбате. “Не похожи, говорит, и все тут!”

– Наташка может дать.

– Да Наташка только это и может.

– Ты это о чем, Онегин?

– Сама не маленькая, Пелевина. Кстати, мне Кихот десять баксов второй год отдает.

– И не отдаст, он сам лечится.

– Правда?

– Я его около семнадцатого встретила; он с Дульсинеей трахнулся, хламидиоз подцепил. И Санчо подцепил. Я только не поняла, кто кого – первый, или они вместе все.

– Ба... Уж если и Кихот болен...

– Весь мир болен, Онегин.

– Ага. Большой Любовью.

– Забыл про чистую.

– На чистую я забил, Пелевина. Значит, Кихот десять баксов не отдаст?

– Не отдаст.

– Тогда я вообще лечиться не буду, не на что мне.

– Дурак ты, Онегин. Сходил бы в социум, подкалымил на антибиотики.

– Не хочу я в социум, Пелевина, не могу я.

– А я могу, по-твоему?

– Ты – можешь. Ты сильная.

– Я?

– Да, у тебя есть Евангелина Вторая.

...В трамвае Евангелине почему-то резко не хватило воздуха, и она моментально перенеслась к Евангелине Второй.

– Евангелинушка, лапушка, прости. Евангелина Вторая пристально посмотрела в собственное отражение:

– Ты просто устала. А прощать мне нечего.

Онегин выглядел плохо: сенбернарские глаза, мешки под ними – алкоголь, недосып и безденежье все больше сказывались; единственное, чего он хотел, но в чем боялся себе признаться – так это увидеть Евангелину и постебаться над социумом, но Евангелина куда-то пропала, а может, слишком усердно лечилась.

Онегин занял очередь в семнадцатый и через несколько минут увидел знакомые латы:

– Эй, Кихот!

Латы стерли с себя пыль и обернулись.

– Люди делятся на две категории, – продолжал Онегин. – Те, которые сидят на трубах, и те, которым нужны деньги.

– На трубе сижу я? – спросил Дон Кихот.

Онегин кивнул.

– Коли ваша милость намерена на каждом шагу напоминать мне о долге... – начал было Рыцарь Печального Образа, но Онегин перебил его:

– Да, намерена, наша милость очень даже намерена. Гони деньги, мне хоть трихопол с тинидазолом купить; на антибиотики – с Санчо стрясу.

– Когда кто-нибудь из рыцарей в беде и выручить его может только какой-нибудь другой рыцарь... – Дон Кихот нащупал в латах лаз и достал оттуда две замусоленные бумажки по пять долларов. – Достославный рыцарь Дон Кихот Ламанчский завершил и довел до конца приключение с графиней Трифальди, именуемую также дуэньей Гореваной, что доставило ему несказанное удовольствие.

- Как, и с дуэньей Гореваной? А мне Пелевина говорила, что ты только с Дульсинеей.
- Я – рыцарь. И как раз Этого Самого Ордена, сокращенно – ЭСО. Не верь никому, Онегин. Из жизни этой вывел я аксиому: все несчастья наши – любовного характера!
- Уж не влюблен ли часом сам достославный Кихот? – оживился Онегин, засовывая мятую зелень в карман.
- Пушкин не делал тебя таким циничным. Кто же сделал тебя таким? – участливо поинтересовался член ЭСО в латах.
- Женщины, старина, женщины. В них – корень зла, – патриархально, а потому противоестественно, вздохнул Онегин и поперхнулся словами.
- Но ведь у тебя есть Евангелина.
- Да, у меня есть Евангелина. Только она об этом не знает.

Процедуры Евангелина не любила. Во-первых, сначала нужно было отстоять очередь, во-вторых, залезть на кресло, оказавшись в самой своей беззащитной позе, а в-третьих, подвергнуться вливанию чего-то инородного в самую что ни на есть нутрь. К тому же, наизусть выученная дорога до заведения, приводящая в девятнадцатый кабинет, остохорошела до “мало не покажется”, поэтому Евангелина грустила и одиноко пила таблетки. Как-то, сидя в очереди и услышав тихое: “Пелевина!” – она увидела Онегина.

Он был депрессивен, небрит, но не вызывал привычного раздражения.

- Ты долго еще? – спросил он.
- Полчаса, наверное, – ответила Евангелина, не удивившись его внезапному явлению. – Деньги, что ли, появились?
- Кихот отдал, вот еще с Санчо стрясу...
- Онегин, я хотела обои новые поклеить, веришь, нет? Опять на эту рвань смотреть, все деньги просадила...
- Ну, это ерунда, обои какие-то.
- Конечно, ерунда, но невозможно же всю жизнь смотреть на один и тот же рисунок на стенах.
- Почему? Нет никакой разницы.
- Да хрен с ними, с обоями. Больше не капает?
- Вроде нет. Я вчера с Александра Сергеича женой общался.
- С Наташкой, у которой даже имя проститутское?
- С ней. Она сказала, что *прозу крепят так: перетягивают канатами в самом горле, а потом в то самое горло вдавливают литр коньяка.*
- Вдавливают? А зачем вдавливать-то?
- Да я вот тоже не понял, зачем вдавливать – можно и так.
- А вчера – не поверишь.
- Чего?
- Все-таки Гульд играет Баха с иголочки.
- Еще бы. Но мне Горовиц больше нравится.
- Ах, Онегин, какая разница – Гульд, Горовиц... Опять в это кресло.
- Любишь кататься...
- Ты, кажется, не совсем так сказал.
- Боюсь оскорбить даму.
- Скоро бал, Онегин. И только посмей предложить мне водку!
- Бал? Ты в своем уме?
- Да-с, бал. Как только анализы станут отрицательными, случится бал. Так сказала Евангелина Вторая.

- Йоп твой отец! – выругался азиат.
- Падеж не тот. Правильнее будет “твоего отца!” – поправила азиата захмелевшая Евангелина.
- Йоп твоего отца! – повторил азиат.
- Первый раз было лучше, – заметил Онегин, наливающий водку в грязный хрустальный бокал. – Ну, за здоровье!
- За здоровье! – опять повторил азиат и немедленно выпил.
- Где ты его откопал? – спросила Онегина Евангелина, когда восточный гость вырубился вместе со своей последней песней.
- Так... нашел... – ответил Онегин. – А вообще, Танька попросила; она теперь матерью Терезой заделалась, грехи искупает.
- А с письмами еще не завязала? В романе ж вроде кольцевая композиция.
- Так это в романе, Пелевина. А утром все иначе.
- Марина Алексеева вчера звонила, в гости зовет...
- Это из “Тридцатой любви...” Сорокина, что ли?..
- Из нее.
- Так она же мужиков не любит, теперь вот и до тебя докопаться хочет.
- Так мне идти к Марине Алексеевой?
- К Сорокину бы лучше сходила, до Марины я сам дойду.
- Нет, это слишком традиционно.
- Ну, ты кадр! – Онегин расхохотался. – Пелевина, тебя надо было убить сразу, до зачатия.
- А ты разве не заметил, что вы все это уже сделали?
- Значит, я разговариваю с мертвой душой? Давай тогда сыграем немую сцену, – сказал Онегин и заткнулся, а Евангелина позвонила Марине в Беляево: “Сейчас приеду”.

А потом и вправду был бал. Самый настоящий – в костюмах, с прическами, со свечами и паркетом – все по-взрослому.

На Евангелине Первой великолепно сидело атласное декольтированное платье из розового шелка; черные перчатки по локоть и вуаль-сеточка создавали подобие контраста.

Евангелина Вторая отражалась – розовыми перчатками по локоть, вуалью-сеточкой и декольтированным платьем из черного шелка.

Онегин наконец-то облачился в классический фрак и выкупил из ломбарда цилиндр, сданный туда после последнего проигрыша в трик-трак, окончательно доматавшего дядюшкино наследство.

Ларина держалась чопорно и холодно, общаясь лишь с генералом, зато Гончарова показала во всей красе: глаза, губы, руки – все горело, все тянулось к противоположному. Александр Сергеич смотрел на все, к чему тянулось, сквозь пальцы, но постоянно приглаживал бакенбарды.

Потом показалась Джульетта-девочка, конвоируемая небезызвестным композитором двадцатого и мифическим литератором рубежа XVI–XVII веков; обожравшийся у Дульси-неи курицей Санчо глушил виски, не внемля увещаниям Дон Кихота; Дон Жуан высматривал очередную жертву, и она уже легка была на помине; Марина Алексеева шла под руку с Настасьей Филипповной, и это было серьезно; три сестры хором хотели Москву; Обломов появился в новом халате, и это оживило дам; Не-точка Незванова выросла; Гантенбайн, назвавшийся Гантенбайном, поправлял темные очки и брал для Лили, любительницы добрых гномов, бокал вина; Русалочка притворялась менструирующей девицей и кровоточила пятками по паркету; Наташа Ростова-I нагло целовалась с Анатолом, оставив Болконского под дубом; Наташа Ростова-II, растолстевшая и озабоченная приплодом, с укоризной

смотрела на первую; Гамлет читал монолог Высоцкому; Высоцкий пил; Воланд усмехался; Чжуан-цзы превращался в бабочку, а потом – наоборот; Печорин жег свой дневник; Ася Клячина нагло помахивала свидетельством о браке; врач Нина Петровна читала ненапряжную лекцию, посвященную заболеваниям, передающимся половым путем, так как бал посвящен был победе над ними – у всех присутствующих.

– В последнее время, – говорила Нина Петровна, – отмечается резкое увеличение заболеваний, передающихся половым путем – ЗППП. Сейчас над классикой любовных болезней (сифилисом и гонореей) превалирует группа негонорейных инфекций урогенитального тракта. Самолечение этих заболеваний не только бессмысленно, но и опасно! Наши методы диагностики позволяют своевременно выявлять заболевания хламидиозом, трихомониазом, уреаплазмозом, гарднереллезом, герпесом, кандидозом, гепатитом и другими. Инкубационный период... В основном... Возбудители этих заболеваний... В связи с малым отличием клинической картины... На приеме работают квалифицированные специалисты...

Нина Петровна выдохнула и после бурных продолжительных аплодисментов выпила бокал шампанского. Хор запел “Многие лета”. В это время Евангелина Первая срослась с Евангелиной Второй и посмотрела на Онегина: на радостях он был чертовски пьян, впрочем, как и остальные выздоравливающие.

Спускаясь по лестнице, обе Евангелины заметили, как сжимает прынец хрустальный башмачок Золушки, и как превращается в тыкву карета.

“Но у меня есть Я”, – подумали одновременно обе Евангелины.

В это время кучер превратился в крысу и, подбежав к дворцу, пропищал самое последнее крысиное ругательство.

Евангелина нежно погладила крысу, а через несколько дней получила от Онегина письмо, где тот слезно умолял ее приехать – но это уже, как обманывали когда-то сказочники, совсем другая история...

Одеяло

...да что с тобой, Катерина, что ты слоняешься из угла в угол, как неприкаянная? снова ищешь пятый, да? ну ведь пятого не бывает, их всего четыре, запомни, четыре, повтори: четыре – это дважды два, два и два, один плюс один плюс один плюс один – это же такая легкая считалочка, помнишь, когда ты была маленькая, так играли, разве забыла, разве это можно забыть? когда маленькая, мир такой огромный, интересный, дома высокие, у мамы красивая прическа и крашенные розовым ногти, и конфеты в буфете, помнишь, а дверца высоко – нет, не достать конфеты, один плюс один плюс один плюс один: ты лежишь в гамаке, смотришь на облако, оно похоже на большого зайца, ушастого, оно смешное, облако, ты разве забыла, Катерина, откуда в тебе такие глаза? они мутные, как отстоянная в бочке вода, ну они же не такие, Катерина, вспомни свои глаза, почему тебе так скучно? скажи, я все пойму, ну объясни же мне, уже третий час, а ты все не встаешь с кровати, разве у тебя нет сил на это – это же просто – встать с кровати, попробуй, лапочка, один плюс один плюс один плюс один, если складывать числа достаточно долго – получится бесконечность, плюс-минус, такая загогулина симпатичная, ты думаешь, бесконечность не вечна, ты хочешь побыть Каем, складывающим слово из льдинок во дворце Снежной Королевы, но это же только у Андерсена, это только сказка, и даже Андерсен не сразу оценил свой талант именно к сказкам, ты веришь в сказки, ты же раньше верила, ну расскажи же, расскажи же мне, а может, напишешь, если не хочешь говорить, так нельзя жить, а как можно? а можно как-то по-другому, а зачем, так не надо спрашивать; ну надо же мне найти смысл, Макс, ты устал, не надо смотреть на меня, как на больную, не надо лечить меня, но ты же болеешь, чем я болею, Макс, что это за болезнь, как от нее избавиться? ну давай родим ребенка, ребенка – зачем нам ребенок, я не хочу ходить пузатая, но это же недолго, зато потом, ну что, что потом? Макс, ребенок вырастет, а ты мне опять будешь рассказывать про два плюс два, Макс, я не хочу, нет, ладно, давай поедem на море, но ты же хотел купить сканер, ничего, это ерунда, море гораздо лучше, там вода, песок, воздух, ага, и я – больная, нет, лучше купи сканер, тебе нужно, мне ты нужна, а не сканер, Макс, я не люблю тебя, ты же видишь, прости, ничего не могу с собой сделать, я не люблю, я благодарность должна испытывать, но я и на благодарность не способна уже, я же стерва, Макс, ты же знал и раньше, ты любишь до сих пор его? не знаю, я его любила много лет, но он же бесчувственный, Макс, он деревянный, он страшный человек, Макс, почему я полюбила страшного человека? а тебе с нормальными всегда было скучно, мы не виделись два месяца, я не знал, а я не говорила, не хотела расстраивать, спасибо, мы встретились случайно, в парке, я курила на скамейке, у меня еще в пакете потекла рыба для кошки, и я хотела ее выбросить, а он откуда-то шел, Макс, я вся съезжилась, я сидела, как Бабка-ежка, *Ягая Баба*, а он шел, шел прямо на меня, он улыбался, я забыла рыбу на скамейке, что он делал в этом парке, я не знаю, Макс, как ты можешь слушать все это? ладно, говори, и мы куда-то пошли, там было много кого, я почти их не знала, они пили вино, они все были счастливые, пели нестремные песни, я не понимала слов, Макс, мне просто было хорошо, мы спрятались в ванной, Макс, это единственная комната, где никто не ходил, мы разговаривали, я сидела на крышке унитаза, а он на полу, мы смотрели друг в друга, Макс, я не знала, что можно так смотреть друг в друга, он спрашивал, как я живу, а я не знала, что отвечать, Макс, я, кажется, говорила о хорошем, а он? а он говорил, что не все хорошо, и будто он чувствует себя виноватым, а ты? а я говорила, что это глупо – чувствовать себя виноватым, если не чувствуешь любви, а он? а он сказал, что не уверен, что не чувствует любви, и что вообще ни в чем не уверен, потому что нельзя быть в чем-то уверенным и... и – да, конечно, Макс, я не должна говорить так, а как еще я должна говорить, интересно, как можешь, я не могу, я сейчас заору, ори, подожди, еще крик не до

конца накопился, подожди, я попозже заору, Макс, он меня целовал, Макс, очень долго это было, а потом кто-то захотел в туалет, и пришлось выходить, и мы ушли из этого дома, где все так хорошо пели нестремные песни и улыбались, мы опять потащились в парк, а потом он сказал, что есть ключи от гаража, а я не знала, что у него есть гараж, купил недавно, там пахло бензином, тряпками, машинным маслом, Макс, я испачкалась, мы трахались на каких-то тряпках, как голодные звери, мы были все мокрые, Макс, ужасно потные, липкие, самые счастливые, он долго вытирал меня носовым платком, он смотрел на меня, как перед нашей с тобой свадьбой, он спрашивал, как ты поживаешь, а я ничего не могла ответить, я в нем тонула, Макс, неужели я никогда его не разлюблю? это ужасно, он же страшный человек, ему никто не нужен, но он выглядел таким растерянным, словно мальчик, потерявший собаку, любимую собаку, а кроме этой собаки мальчику не с кем поговорить, и вообще – не с кем, он потом принес водку, ты пила с ним водку? разве ты пьешь водку? да, я пью водку, я даже не запивала, я потом разревелась, Макс, он вытирал мне лицо, мне казалось, он сам сейчас заплачет, у него была расстегнута рубашка, и я свернулась калачиком у него на груди, он накрыл меня рубашкой, я помню запах кожи, я помню родинку, Макс, зачем я тебе все это... ладно, говори, Макс ты святой, я не святой, нет, ты святой, Макс, что мне делать, ты должен меня за это бросить, я не брошу тебя, но почему? я люблю тебя, Катерина, один плюс один плюс один плюс один, получается четыре, Макс, ты должен меня ударить, нет, ударь меня, Макс, я стерва, нет, ну я прошу тебя, ну, еще, ну же, сильнее, еще, убей меня, Макс, ты хочешь, чтобы меня посадили? никогда, ты необыкновенный человек, не говори так, у меня щека горит, тебе больно? нет, хотя да, мне больно, мне очень больно, Макс, это трагедия, ну не Шекспир же, да хуже, Макс, Шекспиру не снилось, вы с ним договорились, он сказал, чтобы я звонила, если что, но я не могу набирать эти цифры, они меня прожигают, жгут на шею накладывают, у меня пальцы немеют, да ты что, Катерина, Макс, прости, я должна была, Макс, ему никто не нужен, кроме его первой неудавшейся любви, она его бросила, он вымещает что-то на женщинах, он ей никак не может простить, он болен, он волк-одиночка, ему хорошо одному, впрочем, я это понимаю, но только я-то из-за него никому не хочу мстить, особенно тебе, послушай, Макс, я купила ему одеяло, одеяло? да, одеяло, такое черно-красное, очень красивое, я отправила ему посылку, просто так, я не хочу, чтобы он мерз, у него дома такое тонкое одеяло, а зима холодная, батареи дурацкие, я выбирала это одеяло долго, я смотрела на них, в супермаркете, а может, еще где-то, даже не помню, где продают одеяла, я никогда не покупала их, и мне запаковали его в целлофан, и я пошла на Главпочтамт, я хотела побыстрее согреть его этим одеялом, знаешь, Макс, он сказал, что я неплохо смотрюсь с мокрыми волосами, как ты думаешь, он поймет про одеяло, думаю, поймет, а ты бы понял, а ты бы мне не купила... Катерина, ты забей на все, это он так говорил, забей на все, ну и забей, мне нечем, купи искусственный, да только и осталось, кстати, Макс, а сколько стоит искусственный, дорого, зато всегда стоит, это мило, Макс, мне наплевать, стоит или не стоит у него, ты глупенькая, я умненькая, Макс, почему ты мне не брат, было бы классно, если бы ты был мне брат, я твой брат, Катерина, правда? конечно, правда, а как же свидетельство о браке? забраковали свидетельство, нет никаких свидетельств, успокойся, Макс, ты, может, правда, брат, а почему мы женаты, да не женаты мы вовсе, значит, мы родные, что ли, да, Катерина, мы родные, брат, как это классно, брат, ему же можно все рассказать, наконец-то у меня появился брат, Макс, ты не врешь, да мы с тобой разве когда друг другу ввали? нет, кажется, не ввали, я не хочу мужа, я хочу брата, это получится инцест, как интересно – инцест, да уж, нет, это круто – инцест, это не скучно, ты что, не врубаешься, очень даже врубаюсь, только пока не будем делать инцест, ладно? ладно, а что делать будем? а будем картошку жарить, брат, хочешь картошку жареную? хочу, но не уверен, а ты будь уверен, ты всегда во всем будь уверен, если ты не уверен – ничего не выйдет, это он так говорил? это он так говорил, Расскажи мне про него, тебе не станет больно? вот глупости,

конечно, не станет, я же брат, блин, ты самый классный на свете брат, Макс, скажи, зачем ты женился? я любил одну девушку, она работала в больнице, она ходила в белом халате, у всех были сероватые, а у нее белоснежный, а волосы, Макс, какие у нее были волосы? длинные, Катерина, длинные волосы, совершенно пепельные, блестящие, правда? а глаза? а глаза синие, как у Мальвины, а дальше? она врач, она меня лечила, у нее тонкие щиколотки, знаешь, Катерина, когда у женщины тонкие щиколотки... знаю, а еще – когда узкие запястья, да, когда запястья... а что потом? а потом мы читали в дежурке историю болезни, почему ты помнишь? потому что *попал, попал*? как интересно, да, и оказалось, что она тоже *попала*, помнишь? конечно, помню, у тебя были такие глаза, брат, да, у меня тогда были глаза, ну, и как угораздило? а так и угораздило, она сумасшедшая была, эта Катерина, живая, с искорками, что такое “с искорками”? не знаю, забыл, я тоже забыла, ну а потом? а потом – не помню, потом она халат сняла, а куда повесила? она не вешала, она кинула, как это – кинула? а она забила на все, не может быть, может, Катерина, может, и как она теперь живет? а бог знает, как она теперь живет, замуж вышла, но любит другого, Макс, почему другого, а как же ты? а я так – сам по себе, свой собственный, Макс, так же жутко, да, так жутко, Катерина, но мы же родные, да, мы родные, мы же все понимаем, да мы все понимаем, что мы понимаем, Макс, что мы понимаем? что фигня все это, да, фигня все это, моя сестра похожа на Катерину, меня и вправду зовут Катерина, я тоже врач, ты хуже – ты патологоанатом, почему патологоанатом? потому что расчленишь, и еще берешь работу на дом, брат, ну кого я расчлению? себя, на куски, на куски? на куски, я страдаю, брат, если б ты знал, как я страдаю, я знаю, Катерина, да я все про тебя знаю, все-все? все-все, и тебе не противно? нет, мне не противно, ты обманываешь, тебе должно быть противно, я забыл это состояние, ты счастливый, да, я счастливый, научи меня, как быть счастливой? будь собой, и все? и все, но, если я буду собой, Макс, знаешь, что я сделаю? что? я ему позвоню, звонить? звони, сейчас? а почему нет? я помню наизусть, алло, как твои дела? почему надо спрашивать про дела? а нет никаких дел, ты что, сильно занят? я занят не сильно, а когда мы увидимся? я не знаю, у меня много работы, какой интересно? да это вовсе не интересно, Катк, ты мне перезвони, я сейчас не могу разговаривать, извини? ради бога, извиняю, главное, чтоб ты хорошо учился, не понял? да это я так, будь здоров, спасибо, пока, Макс, я дура, почему, вовсе нет, просто это не твой мужчина, а чей это мужчина? а сам по себе, свой собственный, так бывает? так бывает, Макс, как жить дальше? живи – и все, но ради чего? а ради чего-то разве нужно жить? люди об этом почти не задумываются, как жаль, что не задумываются, я хочу задуматься, Макс... твою мать, ты мне брат или не брат? слушай, Брут, я никогда в жизни ни за кем не бегала – веришь? не очень, но продолжай, Брут, ну ты поверь, ладно, верю, так я ни за кем не бегала, почему? ломало, Брут, кроссовки эти все, нет, я любила на шпильках, тебе шло, да, мне шло, Брут, это единственный мужчина, который ничего не хотел, может, из-за этого? может, из-за этого; я в таком случае, его не хочу тоже, почему? да так, объясни, а зачем мне хотеть того, кто меня не хочет? резонно, брат, у него карие, брат, понимаешь, *что* такое карие? не очень, а я понимаю, брат, у него волнистые, и смуглая, брат, я дохла, брат, я чудом не сдохла, брат, но он где-то, а у меня есть брат, понимаешь? не очень, а я понимаю, Макс, я только ничего сделать с этим не могу – он вот сидит, “работает”, что это за “работа”, интересно, хотя, Макс, нет, знаешь, не интересно – это скучно, что скучно, Катерина? а то и скучно – он уже несколько лет “не может” – не в смысле “не может”, а в смысле “занят” он уже несколько лет, и голос этот в трубке слышать мне не в кайф, Макс, а встречаемся мы по иронии судьбы, только в кино все хорошо кончается, Макс, я не хочу его больше, Макс, я просто не могу его хотеть больше, это же чудовище, чудовище, талантливое чудовище, у него на всех есть время, кроме меня, Макс! он дурак, Катерина, раз у него на всех есть время, кроме тебя, он не дурак, Макс, да, он очень умный, Катерина, он тебя *содержит, как собаку на сене*, как ты позволяешь? а я не позволяю, это произвольно, завтра на работу, еще халат

гладить, это ерунда, конечно, ерунда, особенно сейчас, а что сейчас особенного происходит? да ничего, сестра, ты не кисни, сестра, прорвемся, думаешь, прорвемся? а как же иначе, да и зачем он мне, он мне чужой, а ты – не... а я – не... а он – чужой, чужак, а мы с тобой почти родственники, только дальние, да, очень дальние, что сделать с картошкой? сначала помыть, слушай, брат, как ты меня терпишь? не знаю, но, кажется, мы с тобой одной крови, ты и я? ты и я, брат, я не знаю, как называть тебя, Макс, мне не нужен никто, мы поедем на море – обязательно, на следующий год, но сначала ты купишь сканер, ведь купишь? да, Катерина, куплю, а потом, когда-нибудь, я буду ходить пузатая, только не скоро, конечно, не скоро, Макс, ты знаешь, Макс, я самая счастливая женщина в мире, правда? правда, смотри, как я счастлива, и...

Тут я даже не знаю, что случилось, может, галлюцинация – я явственно видела, как *он* спит под моим новым черно-красным одеялом; я пришла к нему в сон, но ненадолго, совсем-совсем на чуть-чуть, а наутро он звонил, но никто не брал трубку, никого не было дома, и он ходил по парку, и искал на скамейке пакет с подтаявшей рыбой, он грустил, он курил каждые пять, он был красив, загадочен, удивителен, одинок, талантлив – он был. Он есть. Есть ли он?

* * *

Он спит под моим одеялом.

Он спит, он дышит, он жив – чую по ветру, слышу шкурой.

Он пишет мне письма и, не закончив, смывает в унитаз. Он борется с собой, дикий. Макс машет на это рукой: ведь Я сплю, Я дышу, Я для него жива. Я счастлива – я умею быть счастливой.

...Того же, кто спит под моим одеялом, зовут долго. Он просыпается, закуривает, что-то вспоминает. Наверное, он тоже счастлив. Только у него нет сестры, только у него больше никогда не будет сестры... *ай эль ю бэ эль ю бэютэ я...* один плюс один плюс один плюс один плюс...

Порномальчик и другие архетипы мужчины

А что тут скажешь? Тут и сказать-то нечего, когда выясняется, что кроме перхоти в бровях у своего ближнего не находишь никаких качеств, ибо она абсолютна: перхоть в бровях.

Марина шла по отвратительной узкой дорожке, посыпанной солью, чертыхалась и мечтала поскорее добраться до метро. Марина сбилась со счета: тридцать два, тридцать три? В прошлом году, кажется, Славка Веркин под столом уснул, хотя, нет, в прошлом году Славка с Веркой развелись уже, и Верка прибежала после нового штампика радостная и весенняя, значит... А в позапрошлом как-то не отмечалось, но Верка опять казалась весенней – значит, тридцать три...

О, ч-черт, под ноги смотреть надо... Ишь, королева... Шел бы ты...

“Художественный”, собака, нас переживет, – думала Марина. – Все перемрут, а он, как стоял, так и будет...”

Марина тихонько выругалась около перекрестка: серебристая BMW, та самая, ход которой не слышен в салоне, чуть не сбила ее с ног; но через минуту ноги Марины уже спешили по засыпанному снежной солью скользкому асфальту, а еще через пару – шлепали по переходу, и – вот оно! – красное **М**, как маяк в погоду психозов и скитаний, прикинулось “Арбатской”.

Марина, порывшись в сумочке, вытащила проездной и, не в силах идти по эскалатору даже вниз, замерла. Она уже давно перестала смотреть в глаза движущейся массе. Иногда, правда, в ней просыпалось чисто профессиональное любопытство, но ненадолго: окружающие профили походили на некрасивые маски, а гармоничные или безоблачные лица вызывали удивление. Особенно если обладатели их, к тому же, никуда не спешили: Марина понимала, что потихоньку, влежку так, стервеет.

“Тридцать три, ну и что, – она ушла в вагон, с удовольствием присев на единственное свободное место. – Хоть сто три”, – и раскрыла “Вечерний клуб”, но читать не смогла: сплетни о светских тусовках раздражали как никогда, раздражало само строение предложений, раздражали мысли...

Завтра снова начнется следующий день, а она опять ничего не сможет понять, ничегошеньки: “...и не вспомнишь с утра, где деньги, которые *еще вчера*, а главное – где, с кем и – непонятно зачем – ты пил”.

...Тридцать третья весна принесла странное ощущение испачканности в чем-то весьма чужеродном, но не хватало сил на это вот легкомысленное и самое главное: “Ша!”, и все катилось к чертям, и Марина каждый вечер заходила в метро “Арбатская” и выходила на “Первомайской”, раз в неделю покупая “Вечерний клуб”, раз в месяц посещая парикмахерскую, раз в год уезжая куда-нибудь в Джугбу... Вчера, на вечере, посвященном десятилетию окончания института, традиционно сползшем в банальную пьянку, Марина с трудом не расхохоталась, нащупав вместо себя черно-белую фотографию среди цветных. “Но в черно-белой, по крайней мере, есть стиль”, – подумала она, и посмотрела с сожалением на экс-звезду курса: Маргаритка Смирнова, в прошлом красавица, когда-то спортсменка и вроде как не дура, продолжила лучшие традиции Наташи Ростовской: куча детей, пренебрежение полное – талией и неполное – всем остальным.

Марина отвернулась, встретившись глазами с Пашкой Казанцевым: лысым, очкастым, в старых ботинках – Пашкой Казанцевым. С ним сидел Женька Никитин с выключенным мобильником, торчавшим из кармана, создавая “Нью-Йорк – город контрастов”.

– Еще будешь? – Марина не сразу узнала Леночку Бернстайн в даме, укутанной лисьими лапками назло Green Peace. Марина кивнула и захотела смыться; ощущение чужого

праздника не покидало; зачем она пришла сюда, что хотела услышать, к чему все эти разговоры? А по специальности никто не работает – с голоду же можно, если...

Марина опустила голову и улыбнулась кому-то из прошлого уже века:

– *Когда нас опять пошлют на Землю, боюсь, Земля нас пошлет.*

– *Знаешь, вчера мне навстречу шел снег. Л другой стоял – под шедшим мне навстречу – с бутылкой пива.*

– *Давай любить, к черту восток!*

– *“Он” давно у него. Только любить теперь не получается.*

– *Тебе совсем... да?*

– *Да. Давай я буду ходить вся в блестящем и клевать на все блестящее, как ворона. Из меня ведь получится вот такенная ворона, востоку-западу не спилось! К тому же, я сомневаюсь, нужен ли ты мне уже...*

А потом опять не виделись месяцев пять. А потом лет несколько. И Марина никого не любила – сначала месяцев пять, а потом – лет несколько. Да и можно разве кого-то любить, когда кажешься самой себе черно-белой фотографией среди цветных, пусть даже и стильной?! И зачем...

Лицемерие, прикрытое улыбкой, – ничего больше; люди, пытавшиеся урвать у Марины ее саму; потом какое-то странное жужжание, раздавшееся в ней внезапно, и... *давайте так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитое Г!* – вместо тоста. Тридцать три, какая разница, талия шестьдесят четыре, любимые писатели всегда Ерофеевы, достать хинин и плакать; не состоялась, состоялось, et cetera, улица 16-я Парковая...

Марина вошла в квартиру и, едва сбросив пальто, открыла горячую воду в ванной, мельком посмотревшись в зеркало: ничего нового, только все еще более устало и запущенно. Она усмехнулась, а стукнувшись о краешек раковины, наклонилась вниз.

На полу почему-то валялась ее детская фотография, где Марине было не больше пяти.

– Привет, как дела? – спросила она.

Маленькая пожала плечами:

– Нормально. А твои?

Марина вдруг заговорила быстро-быстро, очень внимательно вглядываясь в глаза ребенка:

– Понимаешь ты, *просто* – не могу, примитивно! *Сложно* – тоже не могу, достало. И вообще, я слишком реалистична для вопросов. Риторические *как, на что и зачем* не могут содержать ответа изначально – ведь я не знаю той самой *половины* ответа, чтобы задать нужный вопрос! Иногда мне кажется, будто у “близких” они уже не возникают; да те и не ответят, правда? Ведь никто кроме тебя не ответит?

Маленькая посерьезнела и прошептала:

– Никто.

– Но, видишь ли, я не знаю, *на сколько* меня при таком раскладе хватит, вдруг лимит закончится раньше?

– А лимит в любом случае закончится раньше, – Маленькая ковырнула в носу. – На то он и лимит. Только ты не рассматривай это как стресс. Ладно, я пошла, а то с тобой старухой недолго стать.

Марина схватила за сердце: тридцать три... А через секунду раздался звонок в дверь:

– Обои отходят... Воды полквартиры... Сейчас милицию вызовем! – долетали до Марины резкие фразы соседей. Младшие по разуму братья могли причинить немало беспокойств, тем более, вода давно текла через край ванны...

Марина захлопнула дверь и, закрыв краны, стала вычерпывать воду, зная, что, если хотя бы легонько, едва дыша, прикоснется сейчас к клавише stop, то хрупкий и вместе с тем стрессоустойчивый механизм ее биомассы даст сбой, – тогда пиши-пропало.

И вот Марина взяла помаду и написала светло-бежевым на зеркале: “ПРОПАЛА”, а телевизионная толстая тетка в парике запела арию Виолетты...

“...Можно ли с ним жить? А если и можно, то – нужно ли? О, ч-черт! Горячо!”

Для чего? Что он может дать ей, кроме *спины* и идиотской ухмылки на немой вопрос глаз, которые он единственный считал обычным явлением?

Даже если он и любил ее – хотя бы на уровне половых желез, – то никогда в этом не признавался.

Марина тоже не признавалась, но ее непризнание было на пару функциональных порядков выше. Недавно Марина сказала ему: “От тебя нет никакой пользы. Ни моральной, ни материальной. Про физическую вообще молчу. Ну да, от тебя идут, конечно, какие-то флюиды... Только... на х... мне эти флюиды, понимаешь? На х..!”

Кажется, ее мат развеселил его, а Марина всегда любила пировать во время чумы – она видела в этом какой-то определенный изыск, поэтому устроила вскоре вечеринку – эти-кие “провода” любимого в холостяки, умноженные на два. Любимый напился, вернулся к мамочке, а Марина теперь в одно лицо боролась с бытом.

Когда, казалось, нигде уже ничего не текло, и даже тапочки были выжаты и чинно поставлены на батарею сушиться, в дверь снова позвонили.

– Кто? – глухо поинтересовалась Марина.

– По вызову.

На пороге стоял юноша лет осьмнадцати, до неприличия красивый, с теми самыми чертиками в глазах, которые сначала поднимают Женщину до небес, а потом сажают на мель, и часто – до климакса.

– Кран сорвался, прокладки старые... – объясняла Марина юноше под осьмнадцать, а тот смотрел непонимающе.

– Вы – Марина? – спросил наконец он.

Марина кивнула:

– А вы – сантехник?

Глаза осьмнадцатилетнего юноши выражали абсолютное недоумение, а потом он расхохотался: “В некотором роде”; назвал ее адрес, имя и дату. Сказал, что любит за деньги. Что был вызов на этот адрес, и что если ей не жаль времени, а за час он получает сто пятьдесят баксов, то...

– Погоди-погоди, – Марина схватилась за голову. – Какие доллары, какие вызовы? Тебе сколько лет? И вообще, я никуда не звонила...

– Но адрес-то ваш, – упорствовал юноша.

– Может, кто-то пошутил? – недоверчиво покачала головой Марина.

– Может, – ответил Порномальчик, – но, если так, я могу взять с вас вполтину меньше...

...Марина села на стул и начала тереть виски.

– Послушай, мне тридцать три, я сегодня вспомнила, понимаешь, вот, тридцать три, мой экс-любимый – моральный урод, я сегодня поняла, ну, что еще, у меня скучная нормально оплачиваемая работа, две несчастных подруги и дрянная сантехника, я ничего не хочу, а тут вот приходишь ты и несешь какую-то чушь...

А Порномальчик вдруг сказал:

– А знаете, я на самом деле подрабатываю. Я ведь в Политехе учусь, а сам с Казани; просто жрать хочется, а баб... ну, женщин... одиноких, много... Вот устроили друзья в агентство...

– И скольких ты за день осчастливливаешь? – безэмоционально поинтересовалась Марина.

– Ну, когда как: обычно – двух, в выходные – до трех-четырех доходит. Четыре уже многовато.

– А-а-а... – протянула она. – Силен. А заразиться не боишься?

– Нет, – улыбнулся Порномальчик. – С этим проблем нет: профилактика. Вообще, если хотите, можно бесплатно – вы мне нравитесь.

– А ты мне – нет. Уходи быстро, – сказала Марина, вставая. – И дорогу сюда забудь. Все ясно?

Когда дверь захлопнулась, Марина забормотала почему-то “Отче наш”, но, не получив облегчения, раскрыла окно: там, за стеклом, шел дождь, а под дождем шагал вникуда политехнический Порномальчик. Дождь слушал и небезызвестный Моральный урод, называя его “осадком”; но пели уже какие-то птицы, и Марина знала, что ради этих вот самых штук – разбивающихся вдребезги капель, негромких трелей и волнующих запахов просыпающейся весны – живет то ли на плоской, то ли на круглой, но всегда возлюбленной и влюбленной Земле. И только для этих моментов!

Богемка

В том самом – в стиле ампир – здании, где размещалась раньше богадельня, теперь морг. Неухоженный старый парк с разлапистыми деревьями и необунынскими темными аллеями разделял мир на живых и неживых; за этим разделением и стоял маленький особнячок, чердак (он же – мансарда, флигель, мезонин) которого занимала теперь мастерская Натали, в просторечии – Нуси.

Нуся, приехавшая в Россию из самой что ни на есть настоящей Франции еще в детстве (мама имела неосторожность влюбиться в нашего актера, спившегося лет через семь), получила от предков все прелести двусторонней богемки, как-то: отсутствие денег, хамелеонства, да хрупкую, тонкую красоту. Десять лет назад Нусиною отца, не совсем старого русского, отвезли в морг, что стоял напротив мастерской. Патологоанатом обнаружил у него цирроз печени; мать Нуси долго плакала, умоляя дочь вернуться в теплую Францию, но та не захотела: так и осталась в Москве, получая периодически открытки с видами Эйфелевой да небольшие посылки к Рождеству и именинам.

Я приходила к Нусе смотреть эскизы декораций и костюмов к постановкам нашего совсем зеленого, но уже спешащего дышать Молодежного театра-студии, где играла то первые, то эпизодические роли: по принципу контрастного душа, за гроши. А Нуся была чертовски талантлива, к тому же любила театр: так мы и сошлись.

Мастерская ее не имела ни одного окна – только в узкой кишке, напоминающей коридор, было что-то, дающее возможность определения времени года: впрочем, меньше всего это “что-то” походило на окно.

Нуся открывала дверь с непридающимся одинаковым приветствием, улыбаясь: “Лапушка пришла!”

И лапушка – то есть я – оттаивала от вечной суеты, так раздражавшей в течение многих лет. Впрочем, речь не обо мне. Как-то я сказала Нусе:

– Если искусство – дар свыше, то художник дарит его другим. Отдает. Бесплатно. Как тебе эта мысль?

Нуся поморщилась:

– Фу-ты! Это очень нехорошая мысль. Потому что даже художники хотят есть. Хотя бы пару раз в день. А ты вообще знаешь, сколько сейчас стоят анилиновые краски?

– Нет, – я пожала плечами.

Нуся достала из шкафа какую-то баночку темно-зеленого цвета и вздохнула:

– Четыреста рэ вот это чудо стоит, – и отвернулась. – Плюс рамы, холсты... Крепдешин для батика – триста двадцать за метр. А ты говоришь – дар, – Нуся махнула рукой и пошла ставить чайник.

На что она жила? Ну да, что-то присылала мать, какие-то работы продавались, но немного, совсем немного, – Нусе жалко было расставаться с картинами, а сидеть с десяти до семи Нуся в конторе не могла – это ведь действительно жутко: с десяти до семи...

Как-то раз я зашла к ней поздно, после спектакля, еще не отошедшая от роли, вся горячая, вся наизнанку.

Нуся открыла молча и почти сразу присела на диван, скрестив одновременно руки и ноги – тогда она была так похожа на кающуюся грешницу – почему, не могу объяснить.

– Нуся, что с тобой? – выдавила я, потому что казнь Марии Стюарт маячила у собственной шеи виртуальным топориком.

– Ничего, лапушка, это пройдет, – куда-то в стенку сказала Нуся. Потом выяснилось, что у нее купили сразу четыре картины: какой-то иностранец отвалил за каждую по девятьсот долларов, так что она теперь “богачка”... – и рассыпала на столе купюры.

– А почему ты расстраиваешься тогда? На три с лишним штуки баксов можно полгода жить в этой стране... в принципе... если не... – я осеклась.

Нуся достала бутылку “Апшерона”: она любила почему-то именно “Апшерон”. Мы выпили, и тут она говорит вдруг:

– Слушай, я хочу изменить. Все изменить, понимаешь? Мир изменить. Сначала изнутри, конечно. Потом тогда он снаружи – сам. Но изнутри сложнее всего. Я чувствую, блин, что так и не научилась. Жить. Каждый день учусь, каждую минуту, а не выходит. Не важно, Россия или Франция, главное – что внутри. А внутри – одна сплошная дыра. Че-ор-ная, вот такенная, – Нуся развела руки, обозначая пустоту в воздухе, – видишь? Пустота – это хорошо. Но пустота не должна иметь цвет. А здесь я его вижу, – Нуся налила еще; я странно смотрела на нее – я думала, Нуся счастлива в своих красках, а о подобном если и думает, то очень редко.

– Может, тебе завести роман? – сказала я, и тут же отругала себя за банальность: Нуся нахмурилась и взглянула на меня, как на тяжелобольную.

– Это все ерунда, какая же это все ерунда! И картины мои, и, прости, твои роли, и даже музыка, да, *даже музыка*, как ты не понимаешь! – она завелась не на шутку. – Мужчины мне вообще теперь не нужны; продолжать род нет смысла, секс без любви – скотство, а любить у меня нет сил.

– Знаешь, – я сделала большой глоток, – тебе просто надо сменить обстановку, устала ты.

– Нет, – Нуся разозлилась. – Ты неужели не понимаешь? Даже ты? – она сделала ударение на “даже”. – От перестановки слагаемых... – она усмехнулась. – Я думала: писать картины – это выплескивать себя, отдавать душу – бумаге, как черту, как Богу. Раз все в мире взаимнообратно, то черт, значит – обратная сторона Бога? Ладно, – она набрала полные легкие воздуха. – Но выставку я себе позволить не могу – дорого; продать все, что висит здесь, – тоже, – она обвела глазами стены мастерской. – К тому же, люди сейчас нищие, им не до искусства. Стать среднестатистической женой среднестатистического человечка, чтобы выродить что-то среднее... – она отвернулась. – Господи, как скучно! Жутко как! Тебе от этого разве не жутко, скажи, скажи – не жутко разве? – она заглянула в меня своими большими голубыми глазами: они были такие больные, эти ее глаза!

– Жутко, – нехотя ответила я. – Только я стараюсь не позволять себе так думать. И выплескиваюсь на сцене.

– Почему, почему не позволяешь, лапушка? Почему мы всегда думаем черт знает о чем, только не о самом главном?

– Потому что нельзя постоянно о главном, – нарочито отстраненно сказала я. – Потому что есть еще дни недели, обязанности, работа – причем самая лучшая в мире работа. По крайней мере, у меня. И у тебя. Ты же знаешь о своем таланте!

– О, Господи! – Нуся трагично заломила руки. – Да зачем он нужен вообще, этот талант, если *так* все это чувствуешь, что и жить невозможно? Искусство ради искусства? А я не хочу – не хочу! – понимаешь? – заниматься искусством! Хочу жить. Просто... Мое искусство меня убивает. Каждый час, – Нуся стукнула кулаком по столу. – Каждый час, – и тут же сникла и налила еще рюмку коньяка.

Я знала, что это такое; я сама не спала когда-то тысячи ночей, разбираясь в чем-то подобном; на мое счастье я научилась совмещать театр с реальностью и бытом; Нуся же, как ребенок, этому упрячилась, – а может, она знала что-то недоступное мне – может, именно это и чувствуют *перед тем, как*.

– Я сильная, – сказала вдруг Нуся, – сильная. Потому что самоубийца слабым быть не может изначально: это ж какая сила нужна, чтоб себя убить! – она посмотрела вверх. – Но у

меня нет приспособления, которое делало бы смерть более-менее безболезненной. Помогите мне, – Нуся почти встала передо мной на колени, и я с трудом подняла ее. – Помогите!

Она рыдала, а я чувствовала, что сейчас же свихнусь, сию секунду.

– Чем помочь? Пистолет, что ли, принести? – дурканула я.

– Да, – захлебывалась слезами Нуся, – пистолет.

– Так, – я встала из-за стола, – а теперь слушай внимательно, – и начала нести всю ту умную и логичную чушь, которая вроде бы должна отвести от греха подальше кого-то другого, но только не себя саму – самой себе своя собственная логичная чушь едва ли поможет!

Нуся слушала, кивала, а потом вдруг рассмеялась:

– Ладно, проехали. Это я репетирую. Мне же в вашем театре Лету из “Сумасшедшего мира” предложили, вообрази?

Я остоленело посмотрела на нее, а потом растерянно покачала головой и начала спускаться вниз, надеясь доехать до дому на машине – мне не хотелось никогда больше оставаться у Натали, в просторечии – Нуси.

– Пока, лапушка! – махала она мне рукой. – Главное – не переборщить! Не переборщить – главное!!

Я хлопнула дверью, а через день Пашка, бывший Нусин любовник, тоже актер, совершенно без лица вошел ко мне в гримерную:

– Представляешь, Нуся повесилась...

Кисточка от румян выпала у меня из пальцев.

– Но ведь она хотела, чтобы было не больно, – только и смогла пробормотать я.

В том самом здании, где размещалась раньше богадельня в стиле ампира, теперь морг. Там вскрывали Нусино отца. Вскрывали зачем-то и Нусю. Вскрытие не показало никакой патологии внутренних органов; изменение же такой ненаучной субстанции, как душа, зафиксировать оказалось невозможным.

Неухоженный старый парк с разлапистыми деревьями и необунинскими темными аллеями разделял мир на живых и неживых. Я не знала, к какому из миров отнести теперь себя.

“Безвременно ушедшая талантливая художница”, – значилось в черно-белом некрологе.

– Ушедшая на время, – шептала я. – Только на *какое-то время*, – и, вопреки всему, не думала о плохом.

Потому что так, видите ли, нужно звездам. Зачем-то...

Еще та

@@@

Когда я выходила за него замуж, я ни черта не смыслила, что значит “жить вдвоем”. @!! Я вышла, скорее, от скуки – и, видимо, дважды-и-так-далее-замужние подружки сыграли в этом не последнюю роль.

– Но! Но! – подгоняли они меня.

В какое-то время на “тпр-ру-у” сил у меня не осталось, и я сдалась. В конце концов! Надо же когда-нибудь кому-нибудь сдаться?! На мое счастье или “не...”, мой будущий муж появился “в нужное время в нужном месте”: я рассталась тогда со всеми прежними пиплами и пребывала в состоянии классического одиночества, не сильно, впрочем, от этого страдая, – у меня всегда была Я, а скучать с этой дамой не приходилось – насколько удивляла, настолько же и напрягала она меня почти ежедневно.

– Давай поженимся, – беспарфосно сказал мне однажды вечером мой будущий муж.

– Зачем? – удивилась я, и тут же захлопала ресницами, полагая, что в данном контексте просто необходимо хлопать ресницами.

– Ни за чем. Просто будем вместе жить, – и перешел поцелуем в руку в очень девятнадцатый век.

Я думала не долго, точнее – не думала вовсе. Свадьба не была пышной, пьяных драк не наблюдалось, невинности моей тоже.

– Я люблю тебя, – говорил мне мой муж.

Я отвечала ему абсолютно таким же предложением с точки зрения лексики-грамматики и, кажется, действительно любила. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить: хотелось взаимного чуда, хотелось простых и названных кем-то “примитивными” желаний: завтраков вдвоем, легкого покалывания где-то под ключицами, спешки домой по вечерам, и... эти маленькие ненужные подарки, маленькие ненужные подарки, без которых нельзя жить... Хотелось попробовать побыть обычной, без закидонов, женщиной. Женщиной без социальной роли и высоких слов о “призвании” – честно говоря, очень хотелось попробовать, как же все-таки живут *нормальные люди*, – быть может, это был мой очередной эксперимент. Мой муж предлагал мне покой, уют и защищенность. Он только не учитывал, что все это может в один прекрасный момент съестся безликой рутинной существованием, которую ненавидела я так же сильно, как пресловутый уют – ценила.

Моя профессия всегда мешала интиму жизни, каков он есть: журналистика отнимала много сил и времени, но я любила “дело”, и никогда не променяла бы его ни на какое другое.

После свадьбы же я неохотно тащила в командировки и искала причины – полубессознательно, – чтобы вместо меня в некогда желанную тьму-таракань отправили кого-нибудь еще. Я так устала тогда – от всего. Впервые в жизни позволила себе побыть слабой. Хотя, если быть точнее, просто расслабилась, ощутив внезапно забытое, почти архетипическое и уже занесенное в Красную книгу, “сильное плечо”... Мне действительно было в кайф от этого ощущения полубессмысленного безделья, изощренных занятий любовью и бессистемности дней без исчадия великих славных дел.

“К черту! – думала я. – К черту! Я и так сделала достаточно. Могу я хоть немного отдохнуть?” Но муж мой, кажется, считал по-другому.

– Ты личность, – часто повторял он. – Ты не должна замыкаться. Тебе многое дано, – и нес подобную чушь.

Учитывая, что со дня свадьбы едва-едва прошел месяц (действительно медовый), ложка дегтя уже зависала в воздухе, как частенько – мой тогдашний компьютер: мы с мужем

сидели на кухне напротив друг друга и пили чай – красный и зеленый; смысл сказанного им не сразу доходил до меня.

А смысл сказанного им, в двух словах, был следующий: “Не слишком ли сильно влюблена девочка и не мешает ли эта любовь ее профессиональному росту?”

“Девочка” ловила пальцами брови и прилагала достаточные усилия для того, чтобы не покрутить пальцами у виска напротив сидящего, показавшегося вмиг незнакомым, человека.

Потом тот человек просил прощения, долго извинялся, еще дольше пытаясь объяснить абсурд сказанного. Я же не понимала, как можно любить “слишком сильно”, а он говорил, что боится моего “растворения” в нем; я полночи просидела тогда на кухне с сигаретой и валерьянкой, а утром, чудом не собрав вещи, позвонила подруге дней суровых по университетскому прошлому, договорившись встретиться во “Французской булочной” на Маяковке в половине восьмого.

Мы долго болтали; я тщетно пыталась проанализировать ситуацию, заливая ее французским вином и хрустя круассаном. И, по мере заливания и хрустения, до меня начала доходить банальнейшая такая мысль – *еще та* банальнейшая мысль.

Всю свою жизнь я стояла за любовью на паперти, только что не протягивая руку. Поэтому мою жажду никто не ощущал, – я казалась слишком сильной и независимой. И вот, когда я уже одурела от собственной силы и независимости, появился мой муж – в нужное время в нужном месте. И я протянула ему руку. А он привык к обратному и испугался. Что в своей любви я утону. Что заброшу журналистику. Перестану быть самодостаточной. Превращусь в “нормальную” женщину. Чего он допустить не мог. Потому что сам всю жизнь простоял на паперти. Только с протянутой. Но ему не очень-то протягивали. А я протянула. И он взял. Но, в силу инерции, не мог сразу привыкнуть к двум. И страдал.

И тут я рассмеялась. Потому что, в сущности, была свободна – даже от себя. Потому что меня не было. Никогда. Потому что Бог и Дьявол создали меня как упрек “нормальности”, а не как особь женского пола. Не как самку. Но и как особь женского пола и самку – одновременно. И я расхохоталась – нагло и молодо расхохоталась, – ведь раз меня не было, нечего было терять!

Еще та мысль показалась мне удивительно забавной, @@@

Когда я вернулась к мужу, я застала его седым.

– Сколько лет тебя не было?

– Столько не живут, – ответила ему я, тоже седая и осунувшаяся.

Мимо нас проплывали какие-то черные коты и участливо-искусственно мурлыкали.

– Почему ты не пришла раньше? Мне было без тебя страшно одиноко, я не знал, куда деться; пил...

– Много?

– ...

Мы обнялись и никогда больше не расставались. О, несколько счастливых недель перед разложением на элементы! Мы же оказались совсем, совсем уже старенькие, два несчастных идиота!

Но перед агонией он напомнил мне давнее счастье; я не знала, много это или мало, и стоило ли ради этого жить?

Иван Среднерусский

Женщина делала вид, что не плачет. Ей хорошо это удавалось – благо роль была выучена давно и существовала репризно. Иван подошел к ней со спины и, резко развернув к себе, сказал властно: “Так надо”.

Женщина улыбнулась уголками губ; она казалась очень бледной и уставшей, но, переборов себя в очередной раз, кивнула вместо эпилога.

Женщина была потрясающая любовница. Сумасшедшая, необычная, яркая: часы, проведенные с ней, Иван вряд ли забудет. Плюс – низкий голос, миндалевидные глаза и собственная квартира в центре города, уставленная всем тем, что так любит Иван: хорошие книги и удобная мебель.

Он остался в первую же ночь; Женщина не выражала тогда ни согласия, ни его антонима – просто передвигалась босиком по паласу, мягко так, пантерно.

Иван заметил, как блестят перламутрово ногти на пальцах ее ног, и не удержался – поцеловал.

Женщина смотрела на него сверху вниз, как бы оценивая. *Тогда*. Это длилось не более нескольких секунд; через какое-то мгновение Иван остолбенел, глядя на обнажившуюся, весело играющую глазами, – та действительно была хороша. Иван долго целовал пальцы ее ног – маленькие пальцы с перламутровым лаком. Потом стало жарко, и он грубо навалился на Женщину, а чуть остыв, взял ее лицо в ладони.

Он никогда не видел таких лиц, действительно – никогда! И лоб, и нос, и рот, и глаза – все вроде бы такое же, как у всех, но только... – нет, совершенно другое!” В чем разница? – судорожно думал Иван, глядя в зрачки Женщины. – Как будто она родная”, – догадался он, но тут же испугался собственной догадки и отвел взгляд.

Сколько у него их? Считал ли? Было или не было? Как он здесь оказался? В этой квартире? С этой Женщиной? Какая у нее удивительная кожа!

...Он долго целовал ее. Кожу.

Женщина, казалось, не дышала – и только стук сердца напоминал о жизни.

– Как тебя зовут? – спросила наконец Она.

– Иван, – ответил Иван.

– А фамилия?

– Среднерусский.

– Почему “средне...”?

– Потому что не новый.

– Приходи. Когда захочешь. Я в твоём полном распоряжении... – до семнадцатого февраля.

– Почему до семнадцатого?

– Ты любопытный, Иван. Я же сказала: в любое время. До семнадцатого.

– А как я у тебя оказался? – спросил Иван снова.

Женщина рассмеялась:

– О, тебя привели мои друзья... Ты был совершенно... никакой... Говорил, что должен лететь в Мексику. Завтра. А еще сказал, что я красивая.

Иван посмотрел на Женщину и снова ощутил: в глазах у него плывет.

– Какое сегодня число?

– Второе. Второе февраля.

– Еще пятнадцать дней. Иди ко мне.

Женщина подвинулась к Ивану; Иван даже не предполагал, что бывают такие искусные ласки.

- Что ты... что ты делаешь со мной... – вырвалось у него, и он стал похож на ребенка.
Женщина удивилась:
– Как – “что”? Люблю...

Он приходил каждый день. Ближе к ночи. Она встречала его в распахнутом шелковом халате. От нее пахло горьким шоколадом, горькими духами и горькими сигаретами.

– Какое сегодня число? – Но она уже не отвечала ему, а только прикладывала палец к губам.

...Они любили до дрожи: ее лоб покрывался испариной, а Иван не знал имени.
Шестнадцатого февраля Женщина стояла лицом к окну, делая вид, что не плачет.
Иван подошел к ней со спины и, резко повернув к себе, спросил:

– Почему?

Женщина долго молчала, глядя Ивану в глаза, судорожно разглаживая мелкие морщинки около них:

– Потому что круглая Земля. Потому что завтра прилетает Она.

– Кто – “она”? – удивился Иван.

– Неважно, – глухо сказала Женщина. – Ты все равно не поймешь.

– Но почему?! – его поразил не столько сам факт присутствия Ее, сколько то, что он “не поймет”.

– Потому что мужчина не умеет понимать, – сказала Женщина, изо всех сил старавшаяся не плакать.

– Ты ее... любишь? – Иван взял Женщину за подбородок, и она не отвела его руки.

– Да, но...

– Что – “но”? – взорвался Иван. – Я не могу терять тебя, особенно теперь!!

– Но Она тем более не может. Она прилетит завтра. Мы вместе уже несколько лет. Я... – Женщина закашлялась... – я даже не думала, что смогу так увлечься... м-м... – мужчиной, прости... Но мне нужна Она, – Женщина опять замялась, – и мне нужен ты... Я схожу с ума, я не знаю, что делать. Ты не поймешь, правда – не потому что не можешь, а просто потому, что ты – мужчина. Ты не знаешь многого, хотя... хотя, кажется, ты, вот именно ты и знаешь. Может быть, самое главное и знаешь... Она спасла мне жизнь. Не важно, как. Спасти жизнь – не значит не дать отцепиться альпинистскому тросу... Спасти можно по-разному. Я живу из-за нее. Ею дышу. Мы как будто одно, понимаешь? Две капли – слившиеся. Спаянные. И тут появляешься ты, и я... – Женщина бросилась к Ивану на шею и уже не делала никакого вида.

– Оставь ее, – только и мог сказать он.

Женщина грустно улыбнулась:

– Это невозможно. Она умрет без меня.

– А ты – с ней, – как-то слишком развязно произнес Иван.

...Вдруг раздался скрежет ключа, и через минуту в комнату вошла высокая шатенка в светлом кожаном пальто и с таким же кожаным чемоданом.

Ивану показалось знакомым ее лицо, и он почему-то спросил:

– Вы счастливы?

Женщина швырнула чемодан на пол, а взглянув на стоящую у окна гетеру, прошептала сквозь Ивана:

– Втроем веселей, – и нервно поднесла к сигарете зажигалку, грязно выругалась.

Марк Аврелий

...Я не знаю, как быть с ней дальше. Она, если не красива и не умна, то все-таки Женщина. Я побаиваюсь с некоторых пор женщин, я даже мог бы объяснить, почему, только в этом смысла нет. Я ей это и говорю: смысла нет, а она делает вид, что смеется. Но я-то вижу, как ей этот смех дается. Она раскрывает глаза: вот глаза у нее – это да, есть куда посмотреть – две красивые серые лужи; я в них наступаю, ей в глаза прямо наступаю, – а она ими спрашивает, глазами, она тактична; она без башни, но тактична; *я не знаю, как быть с ней дальше*.

Не могу в себе разобраться: мне хорошо с ней, легко, можно не притворяться, даже не бриться, можно все что угодно, но последнее время она молчит, только глазами. Мне от этого немного взгляда убежать хочется – две шикарные серые лужи; правда – шикарные. Но особенно хочется убежать утром, я боюсь у нее задержаться надолго. Она живет если не одна, то преимущественно одна. Она звонит, если только напивается; значит, она напивается как минимум раз в две недели, вот и просит приехать, но не в лоб, а вскользь – типа, у нее сейчас никого нет, вчера была зарплата, она решила устроить праздник, ну, совершенно просто так – праздник; иногда я сдаюсь – еду, и нам бывает здорово, но утром я хочу уйти, а она напивается как минимум раз в две недели; ее жалко, но я не могу себя связывать, я не сделал еще главного. “Что для тебя главное?” – это она когда-то спросила, деланно усмехаясь.

А действительно, что для меня главное?

Хочу стать известным? Хочу да, но не это главное. А что? Я ей тогда начал нести чушь о высших материях, втирать про несуществующее предназначение, а она улыбалась еле-еле, и глаза – эти две жуткие серые лужи – как у мертвой волчицы. Я видел в лесу мертвую волчицу – на охоте, в октябре, года три назад, – она лежала, серая, как ее два глаза, а в животе лежали волчата, и волчица эта была Женщина, я не забуду ее, волчицу, и вот она – Она тогда смотрела на меня, как неживая.

“А для тебя?” – спросил я.

Она опять усмехнулась зачем-то, зло как-то усмехнулась, и натянула одеяло до подбородка. Потом сказала: “Ну не люблю же я тебя, понимаешь”. Думаю, она играла, а потом еще сказала: “Мужики – не главное, детей не хочу, работу терпеть не могу, ориентацию менять хлопотно, а чтобы думать о душе, надо ее хотя бы иметь. Знаешь, для меня главное – опять начать иметь душу, а то все душа меня имеет, я же ее – никак”.

Потом мы этот разговор проехали, и она начала ни с того ни с сего жаловаться на своего экс – про занудство, про скуку; я слушал, ее было опять жалко – зачем она два месяца с ним все это проделывала, так и не понял.

Она вообще странная, Ленка. Я ей как-то сказал: “Ну заведи себе нормального кого-нибудь, сколько можно, ты же женщина, тебе это, к сожалению, нужно”. А она головой качает: “Не могу, – говорит, – больше, не могу. Все, кого любила, советовали завести *нормального*”.

Что я мог сказать ей? Что сделать? Цветы купить? Купил как-то. Две белые, одну красную.

Оказалось 23 февраля; поржали. Она смешливая, Ленка. Только глазами не смеется, плачет она ими, что ли? Поэтому с утра так хочется уйти. Я боюсь, будто она меня привяжет, а я не могу, хотя у нас веселенькая семейка получилась бы. Иногда я представляю ее в роли жены – только она была бы нетрадиционной женой, это же цирк – Ленка!

Она и йогой когда-то занималась, и вокалом, и птиц каких-то разводила, – а потом всех их выпустила, сейчас только клетки остались.

Как она живет, я стараюсь не думать. Она сама старается не думать.

Она, маленькая, мне по плечо. Она...

Как-то она позвонила – в один из тех запоев – и сказала, что сожгла “Идиота”, только что, в туалете, и что унитаз теперь черный, не мог бы я в следующий раз приехать с “Пемок-солью”? А я сказал, что смог бы, я приехал, я испугался, что она спалит всю квартиру. “У тебя болезнь Дауна или кого?” – “Достоевский стал раздражать, представь себе, – так ответила. – Хотя одним идиотом меньше”. – “Ленка, ты как Настасья Филипповна”, – говорю. “Ты знаком с Настасьей Филипповной?” – спрашивает. “Знаком”, – отвечаю. А что я ей мог ответить – пьяной, всем миром неудовлетворенной Ленке?

Она разбила чашку, чтобы издать хоть какой-то звук, а вскоре бросила пить: я ей даже завидовал, – но и звонить перестала.

Потом привык; мне казалось, что чего-то не хватает, а не хватало как раз Ленки; меня все устраивало в этом мире, кроме женщин, я же говорю, я их боялся немного. Боялся их хотеть, боялся, что они могут бросить, или забеременеют, и придется тащиться на аборт или – еще хуже – жениться, боялся разочароваться, боялся забыть ту девочку, с которой до нашей эры гулял на Патриках... Она была пианистка – очень красивая, она играет сейчас в Европе, а мы – мы не Европа; пианистка бросила меня; я боялся, что меня бросят еще раз: это жутко, если любишь, а я любил, мы ездили в Петергоф, у нее бабушка в Питере, мы сидели в центре Дворцовой площади, я был похож на теленка, меня можно было убить: я никогда никого так не любил, а она меня бросила, с тех пор я многого себе не разрешаю, да уже и не нужно; только у Ленки иногда ночью. Неужели она правда меня любит? Ведь говорит – все наоборот...

Бедная Ленка, она же такая классная, какой от нее вред, чего я боюсь? Она не звонит уже давно – значит, правда бросила пить. Я почему-то не могу решиться первым. Точнее, я решил: пусть все идет, как идет. Я уехал, потом вернулся, а она все не звонила; что-то во мне не позволяло сделать это – первым; я не хотел поражений, не хотел привязанностей, не хотел боли. Меня устраивала такая жизнь, хотя... хотя, конечно, иногда я думал о Ленке.

Как-то вечером я наткнулся на книжку Марка Аврелия, она давала мне ее почитать, там было подчеркнуто что-то типа того, будто нужно спокойно думать о смерти и ждать конца, как простого разложения своих элементов.

Я позвонил – просто сказать про Марка Аврелия. Никто не поднимал трубку. Я звонил несколько дней подряд; я подумал: может, она уехала, я знал телефон ее знакомой, я позвонил, мне сказали, что она в реанимации (как – в-ре-а-ни-ма-ци-и?) уже почти неделю, и не приходит в сознание, Ленка, Ленка не приходит в сознание, я побежал, меня не пустили, а потом почти сразу – пустили, она была не похожа на себя, моя Ленка, ее знакомая сказала, что какое-то заражение крови, а вообще – она долго болела, она отдала мне ее дневник – там были письма для меня, теперь я знаю, почему одним “идиотом” – меньше, она любила меня, Ленка, она была Женщина, неотправленные письма для меня, она тоже боялась, боялась, что я сочту ее глупой или банальной, – а она любила меня, а потом – все меньше, а потом внушила себе, что никого не любит, и цели у нее уже не было, она только хотела – душу, у нее же не было ни души, у Ленки...

Душа а-ля рюс

Впервые на очередном Межгалактическом Транспективном Дискусе, посвященном проблемам энергетической подпитки с Третьей планеты Солнечной системы Планетами Более Высокого Полета (ПБВП), обсуждалась неразгаданная модель одного из подвидов земной (человеческой) цивилизации – Психея.

Проблема земной Психеи давно занимала Психею неземную, но вывести ее, как простую формулу, или разложить на элементы, не удавалось целую вечность.

Чем, в конечном итоге, отличается энергоподпитка Третьего мира, обладающая теплой Психеей, от энергоподпитки с холодной Психеей?

Состав Психеи (земной), в сущности, можно подвести под общий знаменатель. Исключение, по новейшим исследованиям различных галактик, составляет только “RUSSIAN PSYCHE” (“Русская Психея”), или “Душа а-ля рюс”.

(Пояснение: на Третьей планете Солнечной системы – Земле, имеющей “спутницу” Луну – Лилит, на территории, обозначенной аборигенами как Евразия, находится некое государство, где плотно расселен русский дух, имеющий Русскую Психею).

Межгалактический Транспективный Дискус, обобщив все знания, свойственные при-ступу туризма, полученные путем энергопоиска о Русской Психее, показал следующее:

§ 1. Русская Психея – самая загадочная энергия из всех известных энергий не только Третьей

планеты Солнечной системы, но и всех других систем в целом;

§ 2. Русская Психея – самая теплая Психея во всей Вселенной. Она альтруистична, продуктивна и высокопотенциальна, следовательно, служит энергопищей для более продвинутых космических сил;

§ 3. Русская Психея – уникальное произведение, требующее защиты, так как может исчезнуть как вид из-за более низких частот вибраций других Психей;

§ 4. Русская Психея – источник порождения творческой энергии, дающей питание творческой энергии Космоса;

§ 5. Русская Психея – б...

* * *

– Вань, а Вань! Слышь, ты бы, может, поблевал, а?

– Отста-а-ань!

– Вань, а Вань! Поблевал бы, а?

– Уйди, Нюрка, убью!

– Да я, Ванечка, не пристаю, но поблевать, оно, однако ж, легче, по себе знаю.

– Ох-хо-хо, убью, сука!

– Вань, а Вань!

– Ну чего тебе?

– А чего это ты про какую-то Псяхею говорил? Ты откуда знаешь? И про космос? Летал, что ли?

– Темнота ты, Нюрка, а еще – дура. Какая, на хер, Психея? Помираю ж я...

“В деревне Таракановка Смердищенского района Козловской области безвременно скоропостижно скончался комбайпер Иван Иванович Сундуков на 28-м году жизни”.

(Из стенгазеты сельсовета)

– А-а, Ванька-то? Да до белки допился, вот и помер. А у нас все Сундуковы до белки допивались. Жалко, душа-человек был.

– Да. Он еще про космос рассказывал тогда. Про Псяхею, – добавила на поминках Нюрка, суетливо утирая платочком залитые водкой глаза. – Про Псяхею...

Несмертные записки

...Утро. Снег валит хлопьями; он похож на белых мух. Очень рано, очень-очень, я совсем не могу спать, а еще тошнит. Меня последнее время постоянно тошнит, я стараюсь не есть, поэтому совсем нет сил. Я лежу постоянно, а иногда перебираюсь в кресло – читаю, но не много.

Надо же, бывает так, что просто – нет сил, и все. Все остальное – есть, все остальное – так же, а сил – нет. Где вы? Я жду вас больше всего на свете. Слышите? Я кроме вас не жду ничего.

Я, наверное, сделала много зла. И много не-зла. Что такое добро, не знаю. Никогда не хотела – его – специально. Хорошо, что можно так вот – лежать, и ничего не делать, никуда не спешить. Неужели так бывает?

Вырвало лапшой, еле дошла до туалета. Совсем нельзя есть; да и не хочется. Какая-то странная болезнь, жуткая слабость. Может, так умирают?

Хочу ли я еще жить? По крайней мере, мне это интересно...

Вокруг ходят тихо, стараются не мешать. А они не мешают. Пусть ходят. Кто они – мне? Кто им – я? Не знаю, ничего не знаю, ничего об этом знать не хочу. Жаль, что мы тогда поссорились, сейчас можно было бы подержаться за руки. Неужели любовь так легко переходит в ненависть? А, может, если не переходит, тогда и не любовь это? Мы ненавидели так же прекрасно, как и любили... Если я прощу, ты ведь тоже простишь, правда?

Какая теперь разница...

Снег, снег, он все сыплется, он не перестает, не утихает, я люблю снег, мы и познакомились в снег, почему я думаю об этом, я не должна, но это же последняя любовь, предпоследняя такой не бывает...

Как мне плохо, никто не знает, как мне плохо, я притворяюсь, никто не знает, никто ничего не знает, никто даже не догадывается, что это было взаимно и самозабвенно, до потери всякого пульса, но умирают всегда поодиночке... Почему-то не страшно... Я всегда думала о смерти хуже, чем та есть.

Где ты... где же ты... Помнишь, как хорошо было? Помнишь?..

Знаю. Теперь помешала дурацкая гордость. Кто ее придумал, “гордость” эту, гадость эту? Сидели бы вместе, держались за руки; ты давно не звонишь, целую вечность, тебе тоже плохо, я знаю, я все о тебе знаю, ведь мы с тобой – две капли, слившиеся в одну...

Какое блаженство – не ходить на работу... Не ходить. Как давно мне хотелось именно этого. Что со мной? Сколько мне лет? Во что я верю? Раньше знала, раньше во всем была уверена. А теперь... – что теперь? После твоего (моего) предательства я ни в чем не уверена, мне стыдно, ведь ты не знаешь о своем (моем) предательстве, для тебя это что-то “в порядке вещей”, я строго сужу тебя (себя) лишь потому, что болею.

То, что было у нас, не могло быть.

Зачем бороться за то, что можно с легкостью бросить?

Даже если бы мы были рядом, не знаю, стало бы нам легче?

Не злись, не злись, научись прощать...

Снег, он такой белый, я ничего не вижу, мне белым-бело, меня рвет кровью, тело – сплошная пытка, неужели раньше оно могло приносить счастье? Или действительно – суррогат?

Я хочу избавиться от этой боли, я больше не могу, я вешу сорок пять килограммов, мне больно, мне больно, мне страшно, но почему-то хочется жить – когда “отпускает”...

Что ты делаешь?

С кем ты это делаешь?

Мы никогда уже не сделаем этого!

Сегодня чуть-чуть лучше. Я хочу, чтобы мы все-таки встретились. Там, если не тут. Только надо успеть – мне – умереть и не переродиться, а то – представь, – я умерла, а мою душу спустили опять на Землю, как в унитаз, а когда ты умрешь, – вдруг этого не будет? Тебя *вдруг* не спустят ко мне?

Почему ты думаешь обо мне плохо?

Я виновата лишь в чувствах.

Так же, как и ты.

Мы любили по-настоящему, ты хоть понимаешь? Как коротко все, как хочется обрести покой! Как не хочется его обретать...

Ты думаешь, я настолько глупа, что ничего не понимаю?

Ты хочешь жить *своей* жизнью; я тоже не хочу ни с кем делить тебя. Мы так одинаковы и так несхожи! Как мы одиноки с тобой!! Никто из людей так не одинок, как мы друг без друга – ведь мы так долго были одним. Так коротко... Я не знаю, нужно ли глотать таблетки, все равно вырвет... Наверное, нужно уколы... Нужно ли уколы?

Когда-нибудь я не смогу даже писать. Я так любила писать тебе. Я счастлива, что мы были. Ты тоже когда-нибудь поймешь это. Скоро, очень-очень скоро...

Если бы была еще одна жизнь, мы могли бы видеться чаще. Впрочем, хорошо, что ты сейчас меня не видишь, я останусь в твоих глазах сильной... Сильной? Я помню только твои глаза – они, как мои, – такие же странные, только другого цвета. Я любила в тебе больше всего – глаза. В них было больше всего – тебя.

Скорей бы все закончилось, скорей бы...

Забыла единственную молитву, которую знала...

А потом придешь ко мне...

Я ведь должна думать о тех, кто рядом... Почему я думаю о тебе (себе), я устала от тебя (себя), тебя нет, ты – где-то, ты хочешь что-то доказать, а я чувствую конец; только очень коротко...

Меня заметет снег. Скорей бы.

Я уснула. Я вижу Небо. Больше нет рвоты и этого холодного липкого пота. Я это или не? Новая я?

Ок. Ты куришь на кухне. Плачешь. Мне жаль тебя (себя) оттого, что пока тебе (мне) не доступна жалость ко мне (себе). Ты очень искренне ненавидишь. Ничего, и это пройдет...

Это только приснилось, это только сон. Сон с легким покалыванием в кончиках пальцев. Даже не знаю, сколько прошло дней, может, это только сутки? Время тянется; время изнашивает меня, тебя, себя. Я просыпаюсь и не хочу (= не могу) встать, да это уже и не нужно; это совсем никому не нужно, разве что человеку, приносящему таблетки...

Помнишь, мы говорили о параллельных прямых, пересекающихся в бесконечно удаленной точке? Мы думали, будто мы и есть параллельные прямые – с недоступным в реале пересечением. Но оказались иными – скрещивающимися, которые лишь на миг соединяются, врастают, вгрызаются друг в друга, а потом разлетаются в разные стороны, совсем в противоположные...

Не верилось. Не верится. Тошнит каждый час.

Я в больнице. Как “раз”. Я не могу больше писать, я боялась – как “два” – этого. Меня увезли вчера; все говорят, что я без сознания, но я почему-то все слышу. Я пишу тебе губами, хотя никто этого не может заметить. Я думаю не только о тебе. Но и о тебе – слишком много.

В вены всажено несколько трубочек с неопознанными мною жидкостями; странно, я совершенно не ощущаю вползания – в себя – иголки, наверное, перестала чувствовать боль. Физическую. Вот бы и с другой – так.

Ко мне никого не впускают, но я вижу всех – они там, за дверью. Он – тоже. Он сидит на стуле, обхватив руками голову. Он страдает: не знает, что меня здесь уже нет...

Только что сняли все эти трубочки, все эти капельницы; я опять ничего не ощутила. Как сладко потерять навсегда страдание, нет, нет, молчи, ты не знаешь об этом ни-че-го – точно так же, как не знала об этом раньше – я...

Представь: нет жжения, тошноты нет, рук, ног, глаз. Носа нет. Губ. Тела нет. Точнее, оно как бы есть, только совсем незаметное, больше не нужное. Мы искали с тобой когда-то “смысл” – помнишь, вечерами, под длинные – красивые и не очень – разговоры?

Так вот, я нашла его, только теперь без кавычек; ты ждешь, чтобы я рассказала?

Когда-нибудь у тебя тоже не станет рук, ног, глаз. Носа не станет. Губ. Всего тела. Оно где-то будет, только совсем незаметное, тебе – не нужное. Тогда ты внезапно поймешь меня, поймешь тщету поисков “смысла” красивыми длинными вечерами, которые, впрочем, у нас с тобой летели быстро, ах, как быстро! Нам всегда не хватало времени, к тому же мы всегда зачем-то от всех прятались... Телом нельзя заменить смысл. Но, когда человек все еще тело, смысла в одной лишь душе он не найдет: как мы. (Какие мы были неприкаянные!) Я хочу, я желаю тебе быстрее пройти этот срок – в кавычках и без...

Не плачь обо мне, не надо, не привязывай, я тоже мучаюсь, когда ты мучаешься, я вижу тебя, я к тебе прикасаюсь, но ты не можешь знать, не можешь, ты винишь себя во всем,

не надо, не надо, никто ни в чем не виноват, мы просто слишком сильно любили, да, это радость, это дар, но очень хрупкий, нам подарили и очень скоро отобрали, а потом у тебя забрали меня насовсем, но не только у тебя, Ему тоже плохо, им всем – тоже, тебе, быть может, в чем-то легче, не страдай, не хочу я этого, не хочу, не хочу, никогда не хотела – твоего страдания; иногда – да, делала больно – но затем лишь, чтобы быть уверенной... Самоутверждалась. Людям иногда нужно это. Но мы же друг друга простили, простили – и – расстались. Ты только не бойся слова “навсегда”, ведь ничего не бывает навсегда, пойми...

Живи так, чтобы не стыдиться. И чтобы не стыдиться меня. Знаю, знаю, – тебя гнетет именно эта гадина – совесть...

Ты делаешь все правильно; ведь ты – это я, как в банальной песенке; мы же – слившаяся капля, мы даже не расставались никогда; как ты не поймешь, как объяснить тебе; надо ли объяснять тебе?! Ты – здесь, я – там, или – я – здесь, ты – там, мы одно, неделимое, кладбище не является границей; когда ты перейдешь эту черту, мы будем вместе, – если все будет хорошо, – если, если... Я обещаю тебе это; я люблю тебя, я люблю тебя, я же просто очень люблю тебя, только и всего...

Зинаида как она есть

Зинаида проснулась. А как проснулась, так и плюнула: до чертиков знакомое, оплывшее тело мужа было до отвращения изучено и не вызывало ничего, кроме желания пнуть его ногой: ударить, да побольнее, будто тварь какую паршивую. Зинаида спрыгнула с кровати, снова плюнула, да и смахнула с лица злые слезы.

Нет, нет, не такой ей представлялась жизнь, не так она хотела... а как хотела и как представляла – того уж никому не расскажешь. “С жиру бесишься, – говорили ей немногие, кому открывалась случайно непонятная эта изнанка Зинаидиной жизни. – Дурью страдаешь. Смотри, мужик-то у тебя вон какой ладный да круглый, не пьет-не бьет, все в дом...”

Зинаида тоскливо посмотрела на *ладного мужика*, и проглотила обиду. В школу ужас как не хотелось; еще бы – по холодку-то! До школы пока доплетешься, весь шарф сосульками покроется – даром, не зазвенит. Зинаида посокрушалась-посокрушалась, себя жалеючи, но неудачи-то в коробочку собрала да на замок амбарный и закрыла: нечего, нечего, сейчас вон юбку быстро погладить, да чулки в потемках-то найти, пока *этот* спит, *этого* же будить нельзя; устает, “кормилец” херов, да и жалко вроде – хоть и скотинка, конечно, а вроде своя, не важно, что не по крови – да и куда ж по крови-то, раз кровь-то у него непромытая, у самой в жилах стынет от его крови такой!

Зинаида оделась и, попив пустого чаю, вышла на мороз. Эх, мать-перемать, даром, училка английского! А какой английский в глухой деревне для вывода даунов в собственном классе? Они по-русски-то еле могут, а тут: “Good morning, children! Who is on duty today?” Тьфу ты, провались оно все, провались оно все трижды, трижды, трижды!!

Зинаида пробиралась к школе по темной еще тропке и подрагивала – она всегда шла в такую рань со смешанным чувством страха и неприязни; какое там “гуд монинг”, сплошное “дьюти” – и так всю жизнь, всю жизнь... За что? И занесло же ее сюда, в дыру эту! А ведь могла бы... могла бы... могла бы что? Mother fucker!! Mother fucker!!! Mother fucker!!!!!! А-а-а-а-а... А?

– Здравсте, Зинаид Сергевн!

Ученик Сальников прошлепал к входной двери, отряхнул снег с валенок, скрипнул чем-то. “Тоска, какая же тоска!” – чуть не в голос взывала Зинаида, чудом зацепившись о заржавелую ручку, за которой...

– Доброе утро, Нина Петровна, – и надела ма-сочку.

– Доброе, доброе; ты что-то припозднилась, звонок через семь минут, – запела директриса.

“Корова старая, – прошелестело в мозгу у Зинаиды совершенно традиционно, как шелестелело каждое утро в течение двух уже лет, и пошла к классу. – Идиотка”.

Уроки тянулись в этот день дольше обычного, просто нестерпимо долго! Зинаида устроила во всех группах контрольные по грамматике, чтобы не разговаривать даже на языке Диккенса: сколько можно, все равно без толку, да и зачем в деревне английский, все равно пропадет добро – ведь только глупые уверяют, будто знаний лишних не бывает, – а они бывают, бывают, еще как!

И угораздило ж за военного! Куда понесло? Зачем? Чего она по гарнизонам не видела? Жен пирожковообразных, жиром заплывающих, обоев безвкусных, храпа моментального, формы вонючей? Эх, жила ведь в городе, жила себе, на инязе училась, могла бы переводчицей... да хоть кем... а тут... деревня, блин, и муж противен уже, так противен, что хоть в петлю, если не к маме...

– Зинаид Сергевн, а обязательно в будущем времени писать?

– Обязательно, – рассеянно отвечала Зинаида, не требуя английских названий времен: какая разница?

Вот бы деться куда отсюда, к чертовой бабушке, куда глаза глядят, где ветер дует... все равно... *на кулички*.

Внезапно подул ветер. Зинаида широко раскрыла глаза и увидела напротив себя кресло, а в кресле – почти очаровательное, если б не притягательно-страшненькое, существо женского пола в очках и с рожками; неподалеку от “существа” то ли собака, то ли еще кто-то – играл в куличики. Зинаида протерла глаза и, заикаясь, спросила:

– Вы... в-в-вообще – кто?

– Чертова бабушка, – ответило, исполнившись королевского достоинства, существо в очках, показывая неслабым коготком на нечто, принятое было Зинаидой за собаку. – А вот и внучок. Добро пожаловать к черту! На кулички!

– Так-так-так, – судорожно начала соображать Зинаида. – Так-так-так. Но как же я здесь оказалась? К вам ведь ни поездом, ни самолетом – ни чем, ни на чем...

– Эт, ты, голуба, зря. Сама хотела деться “куда-нибудь, все равно куда”. Хотела, али нет? Отвечай как на духу!

– Ну, допустим, хотела...

– А раз хотела, нечего и огород городить! – Чертова бабушка приподнялась, чтобы расправить седеющий хвост, и снова села в кресло. – Ну и?..

– Чего – “ну и...”? – Зинаида совершенно не понимала, что же происходит с ней на самом деле.

– Спрашивай по-быстрому, вот чего! Или знаешь про себя все, или боишься? Спрашивай! – Чертова бабушка увеличивалась в размерах.

Зинаида растерялась еще больше; на полу играл в куличики лопоухий глазастый чертенок; к почерневшей печке прислонился доисторический ухват; изба была хоть и закопченная, да вроде чистая, и без следов людоедства. Зинаида вроде осмелела; думает, ладно – спрошу, а не спрошу, так хоть пожалуюсь:

– Что делать мне, бабушка? Что мне, блин, делать-то теперь? От мужа, как в деревню приехали, козлом сразу завоняло; разговаривать противно, да и о чем? Раньше-то, правда, было... и цветы дарил... Школа – убогая-преубогая; дети-дебилы, училки-мучилки, все друг за другом следят, подсиживают; по воскресеньям в клуб ходят, с трактористами чтоб после танцев трахнуть, – мужики-то по школе в дефиците, одни старые девы работают, разведенные да по распределению – дуры гарнизонные вроде меня... А моются раз в неделю, может, и реже... Я уже английский забывать начала; себя забывать начала... Я в ванну хочу... С пеной.

Зинаида посмотрела на Чертову бабушку и спросила глазами: “Ну?”

Но та молчала, прячась за вязанием, молчала, потом вся опять сжалась, да и скажи вдруг: “...”

– Зинаид Сергевн, Зинаид Сергевн, что с вами? – над ней толпились ученики 7 “Г”: негодяи, конечно, но с тревогой на мордах выписанной – неподдельной.

Зинаида обнаружила себя на грязном полу, где меловые крошки не подметались с прошлого года, и привстала; а как привстала, ничего не говоря, побежала в учительскую – об уходе заявление писать. Зоя, мужеподобная физручка с лошадиной челюстью, отговаривала: “Да ты беременная небось, вот и упала в обморок-то. С кем не бывает?”

Через две недели Зинаида швырнула мужу в нос грязное белье, забрала колечки со свитерами, да вернулась в город без отягчающих бракованных – в смысле детей – последствий.

Но каждую зиму виделась ей Чертова бабушка. Виделось, будто говорит она *самое главное*, пыталась запомнить, но, просыпаясь, все забывала напрочь.

Только однажды утром Зинаида заметила, что сама сидит в кресле. Вяжет. Что на полу играет в куличики чертенок, а очередная училка стоит посреди комнаты, и жалуется на эту скотскую жизнь... Гы-гы!

Проза всей жизни

Композитор: Я композитор.

Ваня Рублев: А по-моему, ты г...о!

Д. Хармс. “Случаи”

* * *

Я иду, иду, иду. Черт его знает, куда иду. Сегодня воскресенье, сегодня – еще день, нормальные люди сидят дома или возвращаются домой черт знает откуда.

Я прохожу переулок Хользунова, сворачиваю к ДК “Каучук” и направляюсь к Плющихе: на Плющихе сплошное солнце прямо в лицо и ни одного тополя. Зачем я иду по Плющихе? Зачем натыкаюсь на магазин “Расстегаи и булки” и читаю: 2^й Ростовский переулок?

Во 2^м Ростовском вижу скамейку и присаживаюсь покурить. Два каких-то ребенка спрашивают меня, как пройти к Курскому вокзалу, а потом клянчат деньги. Я даю рубль и выпускаю дым.

Я падаю окончательно в собственных глазах и вспоминаю ее. Я часто последнее время вспоминаю ее глаза. Я вспоминаю...

* * *

Она назначала свидания всегда в самых неожиданных местах. Сначала я удивлялся, потом привык.

Любимым местом встреч был пятачок между моргом и пединститутом на Пироговке. Ей там оказывалось почему-то удобнее всего. Я ждал; она редко, впрочем, опаздывала, и мы шли по Хользунова, а, не доходя до ДК, присаживались в парке.

Она училась тогда на филфаке, я же заканчивал Гнесинку. Мы безумно дорожили своей кажущейся независимостью, нам было совсем немного за двадцать, мы смеялись, ходили к друзьям и слушали “Аббу”.

* * *

– Сережа, Дима, обедать! – зовет жена на кухню.

Я женился на Ирке, потому что Ирка лучше всех на курсе играла Брамса. Я влюбился в ее 117-й opus. Но не в нее. Она до сих пор об этом не знает.

Ирка сейчас “солистка филармонии”, поэтому “обеда” – дело случая; вместо обедов мы видим на кухне Иркины афиши. Ирка действительно умеет играть, это без дураков. Ирка много чего умеет. Вот только свидания назначать на пятачке между моргом и пединститутом на Пироговке ей никогда не пришло бы в голову.

Меня Ирка называет “непризнанным гением” и успокаивает тем, что после смерти обо мне как композиторе узнает весь мир (ее слова).

Димке двадцать; по телефону его постоянно спрашивают разнообразные девчоночьи голоса, но ему, по-моему, наплевать на все, кроме компьютера. Димка ненавидит классическую музыку, даже в музыкалке не доучился – бросил. В этом смысле природа на нем отдохнула.

Ирка сначала из-за этого очень дергалась, а потом плюнула – играет себе Брамса и не жужжит. Мы с Димкой тоже не жужжим насчет “обедов”, мы Иркины руки щадим.

Ирка до сих пор в меня по уши, что странно. Еще страннее, что она очень аккуратно *это* скрывает. Но иногда *это* прорывается. Тогда мне становится жутко стыдно, и я хватаюсь за голову и за сигарету: я ведь никогда не любил Ирку, я любил 117-й opus Брамса.

* * *

Та, которая назначала свидания на пяточке между моргом и пединститутом, сказала однажды:

– Знаешь, я поняла. Я без тебя могу. Но в то же время, когда я без тебя, я не могу о тебе не думать. Не нравится мне все это, – она ковырнула шпилем зонтика землю.

Если бы она сказала это сейчас!.. А тогда мне было совсем двадцать. Двадцать с совсем маленьким хвостом. Со свинячьим таким хвостом. Я пожал плечами; я дорожил своей независимостью. Я до сих пор не понял, от кого и чего.

...У нее глаза сначала зажглись, а потом потухли – это я хорошо запомнил; я был у нее первый, оказывается – это выяснилось несколькими часами позже в холодной чужой квартире по 2^{му} Ростовскому переулку, в доме, где сейчас “Расстегаи и булки”.

Она была какая-то вся *совершенная* в тот момент, не побоюсь этого слова. А потом сказала: “Happу end” – и засмеялась, но как-то грустно.

Как пишут в подобных историях, через какое-то время *дама оказалась в интересном положении*. Конечно, я дорожил своей независимостью больше всего. А времена были комсомольские. Наше последнее свидание на пяточке между моргом и пединститутом закончилось жуткой судорогой в ее глазах и улыбкой.

Потом мне сказали, что она уехала к бабке под Ленинград. Больше я ничего не слышал о ней, а может, мне не говорили.

* * *

Недавно Ирка сообщила, что в зале Чайковского концерт небезынтересной барышни – некой Аллы Смирновой, что какие-то новые интерпретации Гершвина и так далее, что пианистка классная, питерская. “Сходи”, – сказала Ирка безоговорочно.

И я пошел.

В зале Чайковского все было, как всегда, только интерпретации Гершвина действительно оказались новыми, и эта Смирнова – на вид лет двадцати пяти – синкопы чуяла шкуркой.

Потом, как водится, цветы.

И тут из второго ряда выходит вдруг (кино!) та, которая назначала мне двадцать лет назад свидания между моргом и пединститутом – на пяточке.

Я не поверил, подумал – показалось, а в перерыве подошел туда, к ней; она сильно изменилась, очень похудела, но глаза остались те же – такими же глазами она когда-то слушала “Аббу”.

– Что ты здесь делаешь? – спросил я глупо.

– Сижу, – так же ответила она, пожав плечами.

– А тогда?..

Она промолчала.

На ней был узкий серый брючный костюм. Очень узкий. И кольцо на пальце.

– А вы однофамильцы! Играет отлично, – опять сказал глупость я, пытаюсь найти тему для разговора.

Та, что назначала свидания между моргом и пединститутом, рассмеялась: “Неужели ты думаешь, что через двадцать пять лет я потребую с тебя алименты?”

– Не может быть!! Алла? – я схватился за голову. – Ты с ума сошла!

– Ты странный тип, – сказала она. – Сделай милость, исчезни. Как тогда.

* * *

Я иду, иду, иду. Не знаю, куда, откуда и зачем. Оказывается, она тогда не пошла в больницу... Ничего не понимаю. А ведь скоро полтинник. И ведь Ирку – не любил!

Но, боже мой, как же наша девочка чувствует Гершвина!

Подумать только... На пяточке...

User

*Все было: лужа на асфальте,
Знакомый профиль мусорного бака,
И у забора писала собака
С задумчивой улыбкой на лице...:)*

Из запомнившегося

Ты кого больше хочешь – мальчика или девочку? В каком смысле “хочешь”, что это за вопросы неприличные? Тебя хочу! Да ну тебя! Лишь бы смеяться! А если залечу – мальчика или девочку хочешь? Да не залетишь, уж сколько раз... Тебе легко рассуждать; ладно, а как назовем? Денис, конечно. А если *не сын*? А если *не сын* – Дениска. Ах-ха-ха, Дениска! А если Егор, то – Егорка? Ну что ты несешь? Все будет нормально, нормально...

И действительно – все обошлось тогда без последствий; Пашка сиял, я – тоже: дети были ни ко времени, ни к месту, ни к пространству.

“Натали! – офранцуживал он имя. – На-та-ли-и-и-и-и!”

Мы смеялись, мы шли по Таганской улице, чудным образом сворачивали в Малый Дровяной переулок и целовались – легко, почти изящно, красиво, весело. “Натали, – качал он головой. – Что вы со мной делаете?” – и поглядывал хитро, и руку мою утаскивал к выпуклости (слишком упругой и не подходящей для этого времени суток) своих синих старых джинсов; я делала вид, что краснею...

В Пестовском переулке он спрашивал: “Ты действительно?..”

Я мучила его весь путь до Николоямской набережной и, деланно-серьезно смотря в воду, важно отвечала: “Да, действительно... действительно – *что?*” – и хохотала, и кружилась, и Пашка догонял меня, а догнав, сжимал плечи так, что они, бедные, почти трещали.

– Признавайся, немедленно признавайся!

— В чем? — прикидывалась я душой. — В чем признаваться?

Методом негалантным он выуживал, выбивал из меня эти глупые слова: я сопротивлялась, но все же произносила их, а на плече болталась сумка с учебниками и конспектами скучных лекций, на которые мы опять не шли. После ритуала Пашка вроде бы успокаивался, и мы оказывались у Покровки. На подступах же к “Кантри-бару” он останавливался обычно посреди дороги и театрально басил: “Сударыня, не изволите ли пожаловать на дачу к скромному человеку изрядного возраста, весьма потрепанному жизнью? Соглашайтесь, сударыня, соглашайтесь тотчас же!”

...Я соглашалась, и мы садились во дворике на Земляном Валу перекурить событие, оказываясь через пятнадцать минут на Курском: мы ехали к Пашке на дачу, на дачу, на дачу, среди недели, среди метели и толстых привокзальных теток с сумками на колесиках, которые – ай! – того и гляди, переедут тебя...

Тогда на Курском еще не было всех этих ужасных турникетов, и легко можно было проехать зайцем, что мы регулярно и практиковали. Народу в электричку набивалась туча; мы висли друг на друге, ужатые рабклассом – с четырех сторон – до неузнаваемости; “Признавайся!” – требовал Пашка.

“Да, да, да!” – признавалась я на кресле-кроватьи, у камина, очарованная внезапно свалившейся на душу тишиной и только что свалившимся с моего тела Пашкой; да, я, конечно же, а как ты думал... А я и не думал, я все знал, все-все-все, На-та-ли-и-и, На-та-ли-и-и-и...

И все начиналось сначала: каминные отблески, тени на потолке и эта сладкая боль, сладкая боль, сладкая боль, до судорог, до озноба, до умопомрачения...

Потом шли в лес, – а лес в Купавне – только выматериться от удовольствия! Особенно от сосен. И от снега, набивающегося в мои узконосые маленькие, совсем не зимние – для метро же! – сапожки.

А родители когда приедут? В пятницу вечером. В пятницу вечером! Подумать только! Как долго, как долго, долго! Как умопомрачительно долго! Как же я буду без тебя? Надо потерпеть, Натали, надо потерпеть. Но как можно терпеть, когда любишь, как? Нет, я не доживу до пятницы! Глупая, перестань, все будет хорошо, слышишь? Ага, особенно, когда из института вышибут. Да не вышибут нас; ну, за что нас вышибать? За прогулы. Фигня, прорвемся. Знаю, просто нет сил... Совсем нет сил... – я театрально падаю Пашке на руки, и он несет меня почти до станции на руках; я слышу, как колотится его сердце. Знаю, что так уже не будет, не будет, не будет.

– Зачем ты реवेशь?

– От счастья, – я ведь и вправду счастлива: как в сказке...

В электричке холодно; у Пашки в сумке болтается из стороны в сторону *суфийская мудрость*: “Если кто-то позовет меня пить вино, я отнесусь к нему лучше, чем к тому, кто зовет стремиться к мирскому”, – читаю я вслух и говорю: “Позови меня пить вино, ну, позови же! Не надо мирского!!!”

Пашка как-то странно покосился на меня и замолчал до самой Москвы.

Мама, в бигуди, открыла дверь: “Ну почему так долго! И чем это можно, интересно, целый день заниматься? Почему не позвонили?”

Я помахала Пашке рукой: “До завтра!” – а когда дверь захлопнулась, улыбнулась: “Любовью, мам”, – за что немедленно получила по не морщинистому еще личику.

Сделав вид, что ничего не произошло, заперлась в своей комнате: часы показывали истекающее время Золушки; сквозь сон я еще долго слышала, как мама жаловалась: “Ничего знать не хочет... и чем думает только... сессия на носу... только этот мальчишка и на уме... вырастил блять... это ты все, ты виноват, твоя кровушка... Сделай что-нибудь!” Отец кипятился: “Перестань, перестань, пожалуйста! Ну, влюбилась девчонка – и хорошо, отстань ты от нее...” Мать заводилась по новой: “Да тебе давно на все наплевать, конечно...” – я засыпала под ее ругань, как под колыбельную, лет уже несколько, только... только знала, слишком хорошо знала, что завтра будет завтра, и... местоимение такое есть: “мы”.

Но куда, скажите мне, в какую жопу уходят все эти романы, все эти купавны и любви, а? Кто-нибудь мне ответит или нет? Куда исчезают люди, произносившие по нежнейшим слогам твое имя? Что происходит с ними? С нами? Почему сама не чувствуешь никакого чувства, а одну только тупую болячку теребишь по привычке, и никак ампутировать ее не можешь, не можешь, не можешь?

Тогда на меня свалилась страшная тощица. Еще бы! В двадцать один-то год! Любовь, блин, казалось, прошла, а как жить дальше и все такое прочее, было совершенно неясно. Причем не Пашка разлюбил: во мне что-то разбилось, хрустнуло, надломилось. Мы по-прежнему встречались, но, как мне тогда казалось, уже в силу инерции; мне хотелось чего-то другого, нового, одурительного! А Пашка... – Пашка был моей второй кожей. Моим вторым “Я”, моим другом. Верным псом. Сибирской язвой. Ветряной оспой. Да всем подряд!! И – близко. Настолько близко, что я успела к этому привыкнуть и эгоистично перестала замечать его замечательность, наивно полагая, что он будет всегда: встречать, провожать, терпеть, просить прощения легким поцелуем в висок...

И вот я ему, значит, говорю: “Все, мой хороший. Не могу больше. Давай друзьями будем, нет сил на любовь, веришь?” А он голову руками обхватил и раскачиваться стал из

стороны в сторону: “Натали, Натали, что ты несешь?” – “Крест несу, – безжалостно так отвечаю. – Волоку просто ненормированно”.

В общем, сцена еще та, со слезами и потенциальной сединой; а институт уже закончен, а дача в прошлом, а мама мечтает выдать непременно за юриста.

Но что-то у меня свербило внутри, никак не могла в себе разобраться, никак совершенно: долгими вечерами лежала я на диване, запершись в комнате, и пыталась понять, что же произошло. Я никуда не ходила, ничего не читала, даже магнитофон уже не слушала, тщась понять, как же Колобок до всего этого маразма докатился. Глупо! И корвалол. И Пашка ведет себя корректно, другом прикинулся, не звонит часто, и редко – тоже не звонит. И вот уже вообще – номер как бы забыл. А мне тошно: родители ругаются, подруги в замужестве, плюс отпуск в городе, без капли соленой морской воды... Ужас! И хожу я по городу растерянная, по лужам шлепаю, прохожих задеваю, и продолжается это бог знает сколько, и страшно раздражает, и город пустым кажется... без Пашки, потому как ценится преимущественно утерянное, по нормальному-то у меня не получается, чтобы от настоящего момента кайф ловить – нет! – всегда чего-нибудь эдакого подай; и я по электронной ему пишу: “Типа, прости”, а он не отвечает; номер его набираю, а никто трубку не берет, и так – в любое время суток. Я звоню его деду: так и так, Николай Иванович, найти не могу; где?!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.